

# **Семья. /Летопись/**

**Александр Слемзинъ**

## **Содержание**

### **Предисловие**

### **Часть I. ЗА МНОГО ЛЕТ**

#### **1. Наш край**

#### **2. Тени забытых предков**

#### **3. Наш прадед Алексей Петрович**

#### **4. Наш дед Петр Алексеевич**

#### **5. Наш отец Петр Петрович**

#### **6. Трачи**

#### **7. Сашенька**

#### **8. Заштатный городок Маяки**

#### **9. Ностальгия**

#### **10. В кругу родни**

#### **11. Дом на пригорке**

#### **12. Гимназия**

#### **13. Принчик-корольчик**

#### **14. Выбор пути**

## **Часть II. НА ПЕРЕЛОМЕ**

**1. Революция**

**2. Кружилиха**

**3. Студенческое лето 1921 года**

**4. Шквал**

**5. На мели**

## Предисловие автора

Путь к изданию этой книги был долгим. Еще в юности я узнал, что есть у кого-то из родственников рукопись, где описана история нашего рода, рода Слемзиных. Потом выяснил, что написала этот труд моя двоюродная бабушка, жившая в Одессе, и что один из экземпляров был передан ею в Сибирь в подарок брату моего деда - Якову.

Мы жили в Енисейске, а его дети обосновались в Хакасии, и встречи с ними были редкими. Я слушал рассказы о наших предках, и желание прочесть летопись рода все больше овладевало мной. Но почти двадцать лет прошло, прежде чем этот аккуратно переплетенный манускрипт оказался у меня в руках. Машинописный текст, старые фотографии, открытки, подписи, сделанные пером...

Чтение книги не могло меня не увлечь: Тульская губерния, потом Новороссия, XIX век, затем начало XX, мировая война, гражданская, переломные годы истории: сплетение судеб, встречи, расставания, горести, радости и надежды... Моя бабушка, Липа Слемзина, умела писать - сказались и отличная учеба в гимназии, и два высших образования, и долгие годы работы в библиотеке. Уже тогда я подумал, что эта книга - не просто записки для родственников, а настоящее литературное произведение.

Прошло еще несколько лет, прежде чем я решился издать книгу "Семья". Тираж ее невелик, но, надеюсь, прочтут ее многие, и каждый, кто прочтет, почувствует, как много значат родовые корни. Ведь именно принадлежность к роду позволяет человеку ощущать себя личностью, занимающей полноправное место во времени и истории.

Я решил издать книгу еще и для того, чтобы осталась память о русской женщине Олимпиаде Петровне Слемзиной. Умерла она в 1967 году в возрасте семидесяти лет.

Александр Александрович Слемзин, г. Красноярск, 1998 г.

*Минувшее проходит предо мною Я сызнова живу.*

*Пушкин.*



## Часть I. ЗА МНОГО ЛЕТ.

### 1. Наш край.

Двести лет тому назад, в 1764 году, после победы над турками, к России была присоединена широкая полоса причерноморских степей под именем Новороссия. Стремясь быстрее заселить новый край, царица Екатерина раздавала сановникам огромные участки земель и звала на поселение на льготных условиях жителей соседних стран.

Особо лакомыми кусочками Новороссии были устья Днестра, Дуная, где реки делились на рукава, были лиманы с высокой стеной камыша, изобилием рыбы, птицы.

Немцы-колонисты основали на Раздельной местечки — Зельцы, Мариенгоф, Страсбург. На берегу Черного моря появился Люстдорф (веселая деревня). Подле Аккермана на побережье лимана выросла французская колония Шабо. Здесь были великолепные виноградники, а значит, и вина. По течению Дуная до самого Рени до сих пор сохранились деревни, где живут болгары, албанцы, сербы, молдаване, гагаузы (потомки болгар и турок). Каждая деревня живет обособленно, говорит на своем языке, помнит традиции, обычаи родной страны.

Но причерноморские степи и раньше не были безлюдными. Еще в XVI веке здесь были поселения беглых крепостных, казаков. А в XVII веке сюда переселилось из глубин России много старообрядцев. Они бежали от религиозных гонений Петра I. Прошли века. В деревнях были организованы колхозы, а староверы по-прежнему крестятся двумя перстами, многие стригутся под скобку, по воскресеньям, идя в церковь, мужчины одевают длинные поддевки, а женщины — крытые шелком короткие шубки и яркие шелковые платки и "кички", головные уборы замужних женщин.

Когда же в 1794 году родился новый город и порт Одесса, на черноморское побережье хлынули торговцы, коммерсанты, негоцианты из Греции, Италии, Франции. Они привозили колониальные товары, грузили свои суда украинским отборным зерном. Негоцианты привезли в новый край и культуру, среди них было много образованных людей, закончивших университет.

В Одессе был основан оперный театр, где пели лучшие итальянские певцы, высшее учебное заведение — лицей Решильевский. Первый губернатор Одессы, граф Ланжерон, украшал город не только красивыми зданиями, но и новыми видами растений. Он привез из Италии акацию, остролистую гледичи, из Франции — тенистые платаны и каштаны.

Второй губернатор — граф Воронцов — начал мостить улицы города, прокладывать водопровод.

Недавно я прочитала воспоминания родственницы А.И.Герцен Татьяны Пассек "Далекие годы". В них Пассек вспоминает, что она приехала в Одессу в 1840 году, когда иностранные суда завезли в Одессу чуму. Вспыхнула эпидемия. Город был охвачен паникой. Воронцов в это время находился на отдыхе в Алушке. Узнав о беде, он сейчас же появился в городе, вступил в ожесточенную борьбу с эпидемией, окружил город карантинном, обеспечил бесперебойное питание и лечение. Трупы увозились за пределы города. Так выросла "Чумка" в конце Высокого переулка. Борьба продолжалась несколько месяцев. И Воронцов все время находился в черте зараженного города. Под началом умных руководителей город приобрел свое лицо. Лучшие зодчие думали, как создать очаровательные изумляющие свое стройностью и красотой, уголки в Одессе: уютную небольшую Екатерининскую площадь и два полукруглых здания, открывающих вход на бульвар, стройные колонны портика Воронцовского дворца в конце бульвара, далеко видимые с моря; здание Городской Думы на другом конце бульвара, площадь перед Оперным театром, самый театр и др.

Сановная знать строила дворцы. Я помню внутренность углового здания в Воронцовском переулке (в 30-х годах там был союз учителей). Комнаты в доме музейные, лепные потолки, дубовые резные двери. Как красив и своеобразен дворец Нарышкиных - второй неофициальной жены Александра I. Сейчас там, в конце улицы Короленко, находится картинная галерея.

Паустовский прав, говоря, что старинные названия раскрывают историю города, края и не всегда следует их менять. После рассказанного объяснять не надо, почему в центре Одессы была Греческая площадь, Греческая улица, а на окраине - улицы Малороссийская, Болгарская, Запорожская; почему две замыкающие город улицы назывались - Хуторская и Воронцовка. Хутора богачей окружали Одессу. У негоцианта Тома был хутор Дальник, у француза Рено владельца первой большой гостиницы (домик Пушкина) - хутор Отрада. А у дюка Ришелье - загородный дом был окружен парком с прудом. Сейчас это Дюковский парк.

Своеобразие городу придавали не только дома богачей. В Одессе жила и беднота. Перед революцией, я помню, как много здесь жило бедного разноязычного люда. По дворам бродили итальянцы с шарманками. Публику привлекал либо попугай, вытаскивающий из коробки билетки с надписями раскрывающими будущее, либо маленькие обезьянки в пестрых юбочках! Греки, македонцы на лотках продавали твердую, как стекло, белую халву с орехами, которую надо было рубить на куски. А какие-то черномазые люди на углах улиц жарили каштаны на жаровнях. Здесь же продавались дешевые лакомства:

грязные корки кокосовых орехов, блестящие, будто лакированные, стручки неизвестного дерева, бананы, инжир, башмалу.

Бедность ютилась на окраинах города в маленьких квартирах. А дома строились двухэтажные, трехэтажные на итальянский манер. Вдоль этажа были открытые галереи, на которые выходили двери многочисленных квартир. Лестницы наружные — железные или деревянные. Такие дома и сейчас встречаются часто, но их много в переулочках, которые сбегают к порту. Недаром кинофильм по повести Джека Лондона "Мексиканец" снимался в порту, там совсем южный колорит.

Я люблю бродить по нашему городу и всегда делаю открытия. В одном из переулков между Дерибассовской и Греческой я увидела на старинном доме мемориальную доску. Надпись объясняла, что здесь проходили собрания греков-революционеров, кажется, в 1815 году. В этой части города можно увидеть старые заброшенные колодцы с круглыми каменными стенками и железной перекладиной для веревки, а сбоку — ручка.

Напротив Книжного переулка в конце Преображенской есть улица, она параллельна улице Чижикова. Низкие тяжелые колонны окаймляют толстые стены старинных домов. Конечно, эти колонны видели Пушкина.

В это лето я проехала автобусом четыре города: новые кварталы Одессы, Тирасполя, Бендер и Кишинева. До чего же унылые, стандартные дома-коробки. Проезжая, трудно сказать, в каком именно городе ты находишься. Прошлое, конечно, уходит. Время стирает разницу между греками, русскими, украинцами. Это закономерно. Но город должен иметь свою физиономию. При постройке зданий надо думать и о красоте. Почему об этом помнили раньше?

Наш город был особенным. Особенным было и его население — шумное, экспансивное, лукавое, с коммерческими наклонностями. Особенность одесситов — страстная любовь к своему городу. Она прошла через все творчество Катаева, отразилась у Кирсанова, Инбер, Дунаевского и многих других. В своих воспоминаниях Утесов об Одессе пишет, как о любимой женщине.

И для тебя, мой милый брат, хотя ты объехал весь свет, самым дорогим местом на земном шаре является Большой фонтан и там маленький чахлый садик, в котором ты сорок лет тому назад посадил дерево со странным названием "железняк", и старый, ветхий дом, в который ты не один десяток лет вбиваешь гвозди, чтобы он не разваливался, — это Родина.



Почти полтора века тому назад в Одесский край пришли наши предки.

## 2. Тени забытых предков.

Свою фамилию я невзлюбила, когда начала учиться: никто сразу не произносил ее правильно. Как меня только не называли: Селезнева, Слёмзина, Слезкина. Каждый новый преподаватель долго осваивал трудную фамилию. На уроках, когда шла переключка, начиналось заикание. Я злилась и вставала, остро завидуя девочкам, у которых были такие простые, понятные фамилии: Федорова, Бирюкова. Когда я начала работать, я стала называть себя с ударением на последнем слоге "Слемзина". Так я прожила всю жизнь. Когда в 1918 году я студенткой сдавала экзамен по физиологии профессору Завьялову, он неожиданно перебил мой ответ:

—А ведь ваша фамилия написана неправильно, — в руках у него была моязачетная книжка. — Надо писать Слямзина.

А потом пояснил:

— От русского слова "слямзить".

— Я не знаю такого слова, что оно означает?

— "Слямзить" — значит украсть, стащить, совершить мелкую кражу.

Я рассмеялась и ответила, что предпочитаю неправильное написание, чтобы корень остался непонятным. Но, видно, все же наша фамилия Слемзин пишется правильно.

В своей жизни я дважды столкнулась со следами наших далеких родичей. Когда я в 50-х годах заочно училась в Московском библиотечном институте, меня поразило, как легко и правильно меня называли преподаватели и в канцелярии. Фамилия была им знакома, к ней привыкли. Оказалось, что еще год тому назад в институте работала преподавательницей какая-то моя родичка.

На 2-м христианском кладбище, в аллее, где похоронены военные, я увидела могильную плиту с надписью: "Петр Иванович Слемзин 1947. От скорбящих родных". Кто этот Петр Иванович не только с нашей фамилией, но и с родовым именем Петр? Был ли он молод? Погиб после войны. Где его родные? Когда бываю на кладбище, я никогда не нахожу никаких следов, могилу никто не посещает. Видно, был приезжий. Но, несомненно, наш родственник.

Слемзиных должно быть много и в глубине России, и в Сибири. Колыбелью рода Слемзиных был маленький городок Ефремов Тульской губернии. Он находится под Москвой в центре России.

В книге Паустовского "Повесть о жизни" в последней главе автор пишет, что в тревожные дни перед революцией редакция газеты, где он работал, решила его послать в самый захолустный город, чтобы узнать, чем живет, о чем думает народ. Стали выбирать. Один из сотрудников газеты, знаток Чехова, сказал: "Чехов писал, что воплощением российской дичи был для него городок Ефремов Тульской губернии. Это где-то под Ельцом. Кстати, тургеневские места. Ефремов стоит на реки Красивая Меча. Помните, "Касьян с Красивой Мечи"? Вот и поезжайте туда". Паустовский приехал в Ефремов ночью в феврале 1917 года из Москвы. Дождался на станции утра, нанял извозчика и поехал в единственную в Ефремове гостиницу. В седом свете зимнего утра городок оказался на удивление маленьким и облезлым. Кирпичная тюрьма, винокуренный завод с длинной железной трубой, насупленный собор и одинаковые, как близнецы, домишки с каменным низом и деревянным верхом — вызывали уныние. Пожалуй, единственным интересным зданием были торговые ряды на базаре. Какое-то подобие колонн и арок украшало их и говорило о старине.

— Ну и город, — сказал Паустовский извозчику, — взглянуть не на что.

— А на кой лях на него глядеть, — равнодушно заметил извозчик, — чтобы глядеть, сюда никто и не приезжает.

— А зачем же приезжают?

— За хлебом да за яблоками. У нас тут были богатейшие хлебные ссыпки. Купцы сотнями тысяч ворочали. А яблоки, правда, и сейчас у нас отменные. Антоновские.

И здесь, в сонном Ефремове, Паустовский встретил революцию. Он пишет: "По вечерам на слободке выли собаки да неохотно стучали в колотушки сторожа. Казалось, что со времени XVI века ничего в этом городке не изменилось, что нет ни железных дорог, ни телеграфа, ни войны, никаких событий".

И вдруг, когда я пишу эти строки, 10 января 1965 года, московское радио передает "Последние известия", говорит о новых стройках, достижениях и с восхищением рассказывает, что инженеры и рабочие города Ефремова, расположенного на берегу реки Красивая Меча, в невиданно короткий срок построили новый завод синтетического каучука. По плану строить надо было 3 года, а завод вырос за 18 месяцев, и уже к новому году государство впервые получило каучук СКД (что это такое, не знаю). Вот тебе и "облезлый городок Ефремов".

Все течет, все меняется.

Так вот, семейное предание говорит, что в начале XIX века в Ефремове было так много купцов Слемзиных, что одна из улиц называлась Слемзинской. Вероятно, они торговали хлебом, а может быть, яблоками.

А торговым пунктом Ефремов, видно, стал потому, что товары шли по реке Красивая Меча и в Ефремове была пристань.

Какой-то ветви рода Слемзиных все же жилось, верно, несладко, если решили они уехать из России.

### 3. Наш прадед Алексей Петрович. (1795 - 1852)

Весной 1838 года купец 3-й гильдии (захудалый) на лошадях выехал из города Ефремова, направляясь в разведку на юг. Много хорошего рассказывали о Новороссии, но нужно было увидеть ее самому. Дорога была дальняя. Постепенно менялась природа. Взгляд перестал упираться в стену леса. Перед ним открылся далекий горизонт. Алексей Петрович был удивлен ароматом, который издавала каждая травинка в степи, и невольно сравнивал эту растительность с сочной травой и крупными цветами на родине — красивыми, но без всякого запаха. А ведь это те же васильки, та же ромашка. Он зорко всматривался в новые места и отмечал невиданных ранее огромных птиц — дроф, которые спокойно бродили у самой дороги, свист сусликов, непрерывное стрекотание кузнечиков. Иногда встречались мелкие речушки, ручейки, неприметные, терявшиеся в траве. И вдруг эта речушка размывалась, превращалась в болото, поросшее камышом. На воде колыхались столетними листьями белые кувшинки. Казалось, они были сделаны из воска.

По дороге, проложенной чумаками, которые издавна ездили на юг за солью, были стоянки — корчмы, где можно было отдохнуть и поесть. Здесь собиралось много проезжего люда. Алексей Петрович с интересом вслушивался в их разговоры, а по ночам, лежа в телеге под яркими звездами, напряженно думал.

Был он не молод, шел 43-й год. В эту пору трудно менять жизнь, но дольше оставаться в Ефремове было невозможно. Торговля хирела, маленький капитал таял, а семья росла. И единственным кормильцем был он, Алексей Петрович. На юге надо было найти во что бы то ни стало "дело", которое давало бы кусок хлеба, надо найти уголок, куда может переехать семья.

Одесса оглушила Алексея Петровича своим шумом, суетой, а порт и море заставили растеряться. Он, крупный мужчина с окладистой бородой, уверенный, спокойный, вдруг самому себе показался маленьким, никому не нужным. Здесь все было в движении. Грузчики с мешками, углом надетыми на голову и, как мантии, спускавшимися по плечам, тащили на спине какие-то ящики. Громко кричали, размахивая руками, в красных фесках не то турки, не то греки. Тяжело ухало море, и на его волнах раскачивались пароходы, парусные суда, странной формы лодки. Нет, здесь Алексею Петровичу делать нечего. Он снова поднялся наверх, на набережную, и стал взором искать трактир, где можно выпить чаю, отдохнуть и подумать. Но трактира нигде не было. Ему сказали, что закусить можно на Греческой площади. Площадь показалась ему тоже странной. Площади в сущности не было, так как в ее центре находилось Огромное круглое здание, и от площади остался

только круг, застроенный низкими домами. Двери их были широко открыты, оттуда доносился гул голосов.

Алексей Петрович вошел в длинную полутемную комнату, уходящую в глубь здания. В комнате было прохладно и остро пахло кофе. На столиках кофе дымилось в маленьких чашках. Хозяин кофейни, толстый грек с маленькими умными глазами, приветливо встретил Алексея Петровича и усадил за стол. Душистый кофе восстановил душевное равновесие Алексея Петровича. Освоившись с обстановкой кофейни, он увидел здесь много русских людей, а вслушиваясь в их речь, понял, что здесь совершаются торговые сделки, идет купля-продажа. Здесь продавали все: пшеницу, вино, дома, усадьбы, строительные материалы. Алексей Петрович услышал знакомое, близкое слово "лес" и заинтересованно спросил, где же здесь леса, которые можно купить. Но ему объяснили, что речь идет не о растущем лесе, а о строительном материале. В Одессе большое строительство. Дома строят из местного камня-ракушника. Но ведь нужны двери, окна, полы. А вокруг степь, и лес нужно привозить издалека. Его сплавляют по рекам.

В смекалистой голове Алексея Петровича мелькнула какая-то неясная еще мысль. Повеселевший, он стал расспрашивать, где находятся реки, где расположены пристани. Ему назвали Дунай, Днепр. Но самой близкой рекой был Днестр, и самой близкой пристанью — маленький заштатный городок Маяки. На другой же день Алексей Петрович уже был в Маяках. От Одессы городок находился в 40 километрах.

Долго стоял Алексей Петрович на берегу Днестра и смотрел, как медленной вереницей плыли по реке плоты, то совсем погружаясь в воду, то снова всплывая на поверхность. А впереди плотов так же размеренно двигалась баржа с маленьким домишком на ней. Там, видно, шла мирная семейная жизнь: из трубы шел дым, на веревках сушилось пестрое белье, визжали ребятишки. У пристани баржа остановилась. Плоты разбивались на отдельные бревна. Высокие штабеля их высились на берегу и сушились на ветру и солнце. Подле сухих бревен сутились люди. Они связывали их концы, прикрепляли с каждого края по два колеса, впрягали волов. И вот снова, но уже по суше, бревна ползут к Одессе.

Вот здесь, на берегу, рядом с пристанью и будет стоять его маленький лесопильный завод. В этом углу будут сушиться штабеля бревен. А потом их распилят на тонкие гнущиеся доски. И население Маяка, Беляевки, окрестных сел будет покупать их на оконные рамы, на двери, полы.

Вот оно, "дело" маленькое, но верное. Работа чистая, на воздухе. А на пригорке над рекой будет стоять новый дом для семьи, и окна его будут смотреть на реку, на противоположный берег, где широкой полосой растянулись сады и виноградники.

В то же лето привез Алексей Петрович в Маяки свою многочисленную семью: мать, старшую сестру, жену, трех сыновей — подростков да двух маленьких дочек. Все здесь понравилось семье: и жаркое солнце, и неширокая река, и не виданные доселе овощи и фрукты. Каждый день, когда за большим столом собиралась семья, всегда обсуждались новые детали жизни городка. Оказывается, недалеко находится устье Днестра. А там, на крутом берегу лимана, расположен красивый город, бывшая турецкая крепость. Аккерман — белый город. Между Маяками и Аккерманом река разлилась широко, затопила берега. Там высокие заросли камыша. Из камыша и глины здесь строят хаты, крыша тоже из камыша. Глиняный пол покрывают толстыми циновками, сплетенными из камыша. Печки тоже топят камышом.

Здесь часто бывают пожары, и тогда выгорают целые кварталы камышовых хат. А в реке так много всякой рыбы, хоть руками лови. У каждого хозяина много уток и гусей. Птица здесь тоже особенная. С весны до глубокой осени сама добывает себе пропитание. Все гуси и утки уходят на реку, в плавни, здесь же выводят птенцов. А к зиме возвращаются к людям и ведут за собой стаи птичьей молодежи. К мясу здешней птицы надо привыкнуть: оно пропахло насквозь рыбой. Осенью, когда над городком пролетают, несясь на юг, вереницы диких гусей и уток, весь городок заполнен криками и хлопаньем крыльев домашних гусей. Они хотят тоже лететь на юг, к солнцу. Но разжиревшие тела с земли не поднять, и ослабевшие крылья в воздухе не удержать.

Глиняной хаты Алексей Петрович не захотел. Бревен было достаточно: как было задумано, на зеленом пригорке вырос просторный дом с веселыми окнами с резными наличниками. Сюда после напряженного трудового дня возвращается к вечеру Алексей Петрович с сыновьями. Здесь в большой кухне с русской печкой, с некрашеными, вымытыми до блеска полами хозяйничали женщины. Здесь на стол ставились миски с русскими щами, гороховым киселем, пирогами с капустой. Семья медленно привыкала к новым местным блюдам.

И покатились годы. Они не принесли с собой богатства, но в доме был полный достаток, жили сытно. Семья — крепкая, трезвая, строгая, заслужила в городе почет и уважение. Многие сочли бы честью породниться с ней. Но Алексей Петрович новую родню выбирал не спеша, местных обходил. Одну дочку, Варвару Алексеевну, выдал замуж за одесского купца. Другая, красивая, веселая Наталья Алексеевна, стала хозяйкой длинной цепи виноградников над Днестром. Здесь ее муж, обрусевший француз Савари, вместо изгороди посадил ореховые деревья. Они разрослись. Осенью Савари продавал виноград, мешки с орехами, ореховое масло, вино.

Замужество дочек было удачным. Правда, пришлось выделять приданое. И в обратном капитале завода получилась брешь. Но она временная. Давно пора жениться сыновьям. Вместе с невестками в дом придут деньги.

Старший сын Александр, расчетливый, деловой, поле отца не перечил, когда тот подобрал ему подходящую жену. На младшего сына Максима надежда плохая. До сих пор ведет себя, как мальчишка: любит певчих птиц, часами просиживает у клеток, искусно насвистывая незнакомые мелодии. Работает усердно, но заводом не интересуется, во всем подчиняется отцу и старшему брату. Среднему сыну Петру уже 24 года. Но когда отец говорит о женитьбе, либо молчит, либо отшучивается. Кто его знает, о чем думает. Полюбил Алексей Петрович вечерами посидеть на скамейке у своего дома, смотреть на реку, обдумывать завтрашние дела. Стал он уставать: всю жизнь не щадил себя в работе. Здесь же, на скамейке, как-то вечером и закрыл навсегда глаза купец 3-й гильдии Алексей Петрович Слемзин.



#### **4. Наш дед Петр Алексеевич. (1827-1867)**

Неожиданная смерть Алексея Петровича тяжело переживалась семьей. Судьба вырвала ее основу, ее опору. Алексей Петрович умел объединять членов семьи, создавать одно целое. Внимательный и чуткий по отношению к матери и жене, он был требователен и суров по отношению к детям. Но ему подчинялись охотно, так как чувствовали, что требования разумны, продиктованы любовью и заботой. При нем сглаживались неровности характеров, на первый план выступало лучшее в человеке. А тут вдруг выяснилось, что Александр властолюбив, самостоятельно разрешает трудности, Петр вспыльчив и нетерпелив, Максим — легкомыслен и равнодушен.

Приближалось лето, пора заготовок лесного материала на весь год. Зимой река покрывалась льдом, и баржи отдыхали. А денег было мало. Александр решил, что женитьба Петра поможет выйти из трудного положения, либо придется сделать заем у нового родственника Савари. Петр против женитьбы не возражал. Но когда назвал имя невесты, Александр ахнул. Он знал эту девушку. Она отличалась своей красивой внешностью и грамотностью. Но она была дочерью ссыльного поляка, рабочего Беляевского водопровода. У нее не было ни копейки приданого. Пренебрежительный отзыв Александра заставил Петра вспыхнуть и наговорить много резких слов. В сердцах он потребовал выделить причитающуюся ему долю наследства. Это был уже удар в спину семье. Разгорелась крупная ссора, которая привела к разрыву семьи.

Петр получил, как и говорил Александр, денег очень мало, но поставил под угрозу существование лесопильного завода. Помог Савари, но Александру пришлось не один год выплачивать свой долг, пока он снова твердо встал на ноги.

А Петру в жизни явно не повезло, хотя в жене Ирине Осиповне он нашел верного, разумного друга. Деньги быстро растеклись. Нужно было построить дом и обставить его, нужно было время, чтобы подыскать работу. Пробовал Петр Алексеевич заняться коммерческими делами, но неопытный и быстрый неизменно терпел крах. Семья росла. Жена учила сыновей грамоте и настойчиво говорила мужу, что они должны учиться. Петр Алексеевич пригласил в дом ссыльного студента, и всю зиму дети учились. Но весной, когда наступил предпасхальный великий пост, неожиданно увидел Петр Алексеевич, что учитель ест скоромное. Раздраженный очередной неудачей, выпивший для успокоения рюмку водки, Петр Алексеевич вознегодовал и выгнал провинившегося студента из дома. На этом закончилась учеба сыновей. Больше у них не было возможности к ней вернуться.

Братья о ссоре не забывали, друг к другу не ходили. Оба от этого страдали, так как продолжали любить, но никто не хотел сделать первый шаг к примирению. Петру Алексеевичу в конце концов пришлось идти на работу на Беляевский водопровод. Ему

была всего сорок лет, когда его привезли с раздробленной ногой. Началась гангрена. В расцвете сил умер от заражения крови наш дед Петр Алексеевич, оставив вдову с тремя детьми без всяких средств к существованию. Александр пришел на похороны, предложил Ирине Осиповне помощь, но она гордо отказалась. Знала, что семья Слемзиных считает ее виновницей разрыва семьи, бедности и гибели Петра Алексеевича.

## 5. Наш отец Петр Петрович. (1857-1922)

Петр Петрович был в семье вторым сыном. Ему исполнилось десять лет, когда умер отец. Тяжелое детство наложило отпечаток на всю его жизнь. Старший брат Яков четырнадцатилетним мальчиком начал работать в Беляевке на водопроводе, отошел от семьи, рано начал самостоятельную жизнь. Мать шила, но заработок был ничтожен. Семья — Петя и трехлетняя Маша — часто голодала. Поэтому когда трактирщик немец Франц предложил Пете идти к нему работать, быть "мальчиком на побегушках", Ирина Осиповна, скрепя сердце, согласилась.

Работа у Пети была беспокойная: он должен был приносить из Днестра воду, ставить самовары, колоть дрова, мыть посуду. Он был смысленный, проворный и скоро завоевал симпатию у Франца. Но вскоре маленький Петя в самый разгар рабочего дня хоть раз в неделю куда-то исчезал, начинался зов, крики, посылали за ним домой. Но и там его не было. А часа через два-три Петя появлялся бледный, вялый и, не отвечая на расспросы, упорно молчал. Но Франц все-таки проник в тайну мальчика. Оказалось, что Петя страдал головной болью, которая приходила к нему, когда он переутомлялся, и доводила до изнеможения. Боясь, что он лишится заработка, боясь, что мать запретит ему работать, Петя никому не говорил о своей болезни. А когда становилось нестерпимо, шел к реке, забивался в щель между штабелями дров и лежал, стараясь уснуть.

Франц с большой жалостью относился к ребенку, при вязался к нему, часто звал к себе домой, брал с собой, когда ездил в гости к родичам в немецкие колонии — Зельцы, Страстбург. Петя с интересом рассматривал немецкие села, которые состояли из одной длинной улицы с совершенно одинаковыми домами и дворами. Дома, отделенные от улицы низкими глинобитными стенками, уходили далеко в глубь двора. Под одной крышей находились комнаты, сарай, амбар, конюшня, птичник. А через весь двор тянулся глубокий погреб, заполненный бочками с вином и всякой снедью. Немцы усердно работали и жили сытно. Главной комнатой в доме была кухня — большая светлая с кирпичным полом. Там собиралась семья за большим столом, на котором в огромных мисках дымился вареный картофель, куски ветчины, колбасы и неизменный кофе. Здесь собирались и вечерами для отдыха. Женщины в пестрых вязаных юбках, в толстых шерстяных чулках с вязаньем в руках. Мужчины в темных свитерах с трубками в зубах. Беседа велась неторопливая, с большими паузами.

Петя никому не мешал. К нему относились ласково, как к родственнику. Вскоре выяснилось, почему Франц познакомил Петю со своими родственниками. У Франца не было детей. И он начал просить Ирину Осиповну отдать ему Петю для усыновления. Он соблазнял перспективой сытной зажиточной жизни, наследством, которое останется после

его смерти. Ирина Осиповна вежливо поблагодарила немца за доброе отношение к ребенку, но наотрез отказалась от предложения. Петя был для нее в жизни единственной радостью, единственным другом, помощником. А когда Петя узнал о проекте Франца, он испугался, что может лишиться матери, которую страстно любил. Товарищей у него почти не было: мешала работа. С матерью он делился своими впечатлениями, детскими переживаниями. Но вскоре у него появился маленький друг — двоюродная сестра Еля, которая на два года была моложе Пети. Мать об этом знала и дружбу поощряла. А познакомился он с Елей так.

Стояла суровая снежная зима. Ирина Осиповна заболела и лишилась своего заработка. В доме было холодно и голодно. После долгих колебаний Петя без разрешения матери пошел к дядьке Александру. Он нашел его на заводе. Занятый делами Александр Алексеевич рассеянно выслушал Петю и тут же дал распоряжение работнику дать мальчику картофеля. Работник указал Пете на груды картошки и сказал, что он может взять, сколько хочет. Глаза у Пети разгорелись, а силенок не было. Он набрал мешок картофеля, с большим трудом уложил его на саночки и, торжествующий, поволок его домой. Но радость была недолгой. Ирина Осиповна заплакала от обиды и возмущения: картошка оказалась мерзлой.

В ближайшее воскресенье, когда после обедни вышел в распахнутой шубе Александр Алексеевич вместе с другими именитыми жителями города, раздался звонкий мальчишеский голос: "Чтоб вы, дяденька Александр, подавились своей мерзлой картошкой!" В первую минуту Александр опешил, а потом узнал племянника, оценил весь юмор своего положения и от души расхохотался. Схватив за плечо убежавшего мальчугана и крепко его обняв, Александр Алексеевич повел его к себе домой. По дороге он говорил, что не знал о качестве картофеля.

За праздничным столом, где собралась вся семья, он заставил Петю подробно рассказать, как они живут. Слушая сбивчивый рассказ Пети, Александр Алексеевич все больше хмурился, а у Ели глаза наполнялись слезами. После обеда он с Петей пошел к Ирине Осиповне, стал просить прощения за присланную картошку, обещал прислать продукты и в дальнейшем помогать семье, но опять наткнулся на суровый отказ. Рассвирепев, он крикнул, что дело не в ней, гордой и своенравной, его долг помочь детям покойного брата, и она не может ему запретить. С тех пор Петя стал частым гостем в семье Александра. Его встречали приветливо. А Еля сразу же решила стать его покровительницей. Между братом и сестрой возникла любовь и дружба. До последних дней Пети Еля помогала ему советами и делами. А Петю привлекала не только умная, добрая девочка, но и обстановка, в которой она жила.

Девочка училась. У нее было много книг, было фортепиано. Она стала учить Петю музыке и нашла в нем способного ученика. В доме Александра Петя познакомился со своими тетками, сестрами отца. Они часто приезжали в Маяки погостить. Шумные, нарядные, они вносили в дом праздничную суету. Петю они полюбили. Не только его имя, но и внешность напоминала им покойного брата.

Работа в трактире сделалась для Пети невыносимой. Он уставал от шума и беготни. Соблазненный возможностью приносить домой свежий, душистый хлеб, Петя перешел на работу в пекарню, но пробыл там недолго. Приступы болезни заставляли пропускать рабочие дни, а вымешивать тесто было нелегко. К этому времени он стал уже подростком и уступил настойчивому зову дядьки идти работать к нему на завод. Условия работы здесь были иными. И кроме того, он мог с разрешения Александра во время приступов оставаться дома.

Тетки увозили Петю в город, показывали его врачам. Но никакие лекарства не помогали. Врачи говорили, что головная боль не основа болезни, а ее следствие. Где же гнездилась болезнь, они не знали.

Тогда не умели измерять кровяное давление. А оно, вероятно, отклонялось от нормы. Физическая работа и полуголодная жизнь усиливали его ненормальность. Петя вырос, превратился в красивого юношу с сияющими голубыми глазами, с легкой, танцующей походкой. Он очень хорошо плавал, любил музыку, брэнчал на любом инструменте, великолепно катался на коньках. В свободные дни зимой лучшим отдыхом для него было надеть коньки, заложить руки за спину и, ритмично раскачиваясь, как в каком-то танце, пробежать по замерзшей реке не один десяток верст, попасть к аккерманской тетушке Савари на обед, а к вечеру вернуться домой.

С дядькой Александром установились теплые отношения. Они взаимно уважали и ценили друг друга. Своих детей Александр Алексеевич любил, но очень рано они начали жить своей обособленной жизнью. Еля окружила себя учащейся молодежью. У нее охотно бывали юноши и девушки. Их споры не всегда были понятны Александру.

Младший сын Иван подростком уехал в Одессу учиться. В Маяки возвращаться не хотел. А лесопильный завод постепенно приходил в упадок.

Когда Еля объявила родителям, что выходит замуж за молодого некрасивого еврея фельдшера Павла Леопольдовича Махновского, вся семья была потрясена, но возражать Еле никто не стал. Она всегда была самостоятельной. Чтобы иметь право жениться, Махновский принял христианство. Молодые зажили своим домом и были счастливы. По-прежнему у Елены Александровны собиралось много интересных людей. Здесь Петя приобрел двух задушевных друзей. С одним из них, молодым провизором, владельцем

аптеки, евреем Карельманом, связано детство и общая любовь к музыке. Карельман был виолончелист, но судьба сделала его аптекарем. Он должен был в аптеке и в семье занять место умершего отца, так как на его иждивении остались мать и сестры. Карельман покорился, обзавелся собственной семьей, но по-настоящему жил только тогда, когда брался за смычок.

Вечера у Махновских были для него не только отдыхом. Карельман посоветовал Пете приобрести скрипку и стал его учить. Со скрипкой Петр Петрович не расставался до конца своих дней.

Вторым другом для него стал русский богатырь Андрей Стогов. Стоговы были крупные богачи, им принадлежали баржи, которые ходили по Днестру с товарами. Но жизнь Андрея была тоже исковеркана. Отец умер рано. Молодая вдова, по характеру горьковская Васса Железнова, крепко взяла в свои руки управление делами. Подросли два сына, но мать власти им не передавала, жениться разрешала только на богатых невестах. Сыновья были внешне покорны матери, но у каждого из них на окраине города были неофициальная жена, простая русская девушка, и дети. Все теплые месяцы Андрей Стогов проводил в плавании на барже. А когда Днестр покрывался льдом, возвращался в Маяки. Он ценил дружбу с Махновскими, был там частым гостем, охотно принимал участие в музыкальных вечерах, спорил о литературе. Он пел баритоном, любил аккомпанировать на гитаре. Часто бывал он и у Петра Петровича. Они вместе ходили на охоту, на зимнюю рыбную ловлю, катались на коньках.

Жизнь Петра Петровича постепенно выпрямлялась. Хороший заработок изгнал из дома нужду. Ирина Осиповна поддерживала в нем порядок и уют. Маша стала взрослой девушкой. В семейных отношениях всегда была глубокая любовь друг к другу. У Пети были добрые родственники, хорошие друзья.

Но горький жизненный опыт научил его не забывать о завтрашнем дне. А это "завтра" было довольно туманным.

С того времени, как новая железная дорога связала Одессу с другими городами, резко снизилось значение Маякской пристани. Лесопильный завод приносил малый доход. Александр Алексеевич старел, и Еля уже не раз говорила о том, что завод следует продать. Будет новый хозяин, будут новые порядки. А головная боль, по-видимому, была пожизненной спутницей Пети. Родственники беспокоились о Петиной судьбе и не раз говорили, что для него нужна такая работа, где он был бы хозяином своего времени. Например, можно открыть лавку колониальных товаров. Но для этого нужны деньги. Пете шел уже 28-й год. Одесская тетушка Варвара Алексеевна решила подыскать ему хорошую невесту. Среди ее знакомых оказался грек Касифо. На Канатной улице у него был многоквартирный дом. Старый грек, смеясь, говорил, что его дело зарабатывать деньги, а

в семье он всецело подчиняется женщинам. А женщин было много. Жена, властная кацапка, и четыре дочери, все на пороге замужества. Породниться с Варварой Алексеевной Касифо был не прочь. Его не смутило, что жених беден. Петр Петрович произвел на него хорошее впечатление, это не был легкомысленный мальчишка. Касифо одобрил его замысел, как использовать приданое. Остановка была за невестой. Выбирай любую, но традиция требовала, что выдавать замуж надо по очереди, по старшинству.

Портрет старшей дочери Касифо Сони сначала висел у нас, а потом по наследству перешел к ее дочери Лиде. Я его помню. Портрет был в овальной рамке, писан тушью. На нем была изображена смуглая скуластая девушка с черными глазами. Над низким греческим лбом белел прямой пробор, разделявший густые, гладко причесанные черные волосы.

Равнодушно отнеслась Соня к своему замужеству. Потом ее сестры шутя говорили, что Соня всегда и "в семье своей родной казалась девушкой чужой". В Маяки Соня привезла солидное приданое: дюжинами полные комплекты льняного, столового и постельного белья; тонкими с кружевами, оборочками женского белья, много нарядных платьев, пальто всех видов, лисью шубу, крытую толстым черным шелком, набор золотых вещей — кольца, серьги, браслеты, медальон, часы. Все это было сложено в сундуки и наглухо закрыто. И так, нетронутым, через восемнадцать лет его получила Сониная дочка Лида, когда выходила замуж. Соня занялась уборкой дома. Целые дни мыла, скребла, не признавая ничьей помощи. Натертые полы сверкали. Соня не позволяла в комнате ходить в обуви. К Махновским Соня ни разу не пошла и к себе не звала. Болезни мужа просто не замечала. Во время приступов дверь в спальню плотно закрывалась. Иногда муж выходил из спальни после болезни через два дня. Соня смотрела на него равнодушными глазами.

Дважды выразила свой протест Соня. Первый раз, когда услышала, что соседи называют ее мужа Петей. "Но ведь они меня знают с детства", — пытался тот объяснить. Второе требование предъявила Соня вскоре после замужества — переселить Ирину Осиповну и Машу в старый флигель во дворе. Занятый организацией нового дела, Петр Петрович не замечал, были ли в доме ссоры. Соня не жаловалась, а настойчиво заявляла о своем желании жить в доме одной. Растерянный Петр Петрович пытался ее уговорить, он не представлял себе, как предложить любимой матери уйти из дома, построенного при ее непосредственном участии. Но Еля посоветовала подчиниться Соне, все равно хорошей жизни не будет. Состоялось переселение. Возмущенная Маша уехала к тетке в Одессу, где вышла замуж за рабочего Фещенко.

Вечерние часы, когда собиралась семья, были самыми любимыми для Петра Петровича. А сейчас они были отравлены мыслью, что рядом в одиночестве за своим вечерним чаем сидит та, которая отдавала ему последний кусочек хлеба. У него росло презрение к себе и

неприязнь к Соне. Так появилась первая глубокая трещина в семейной жизни. Ирина Осиповна, почувствовав себя ненужной, быстро старела. Ее глубоко оскорбляло, что Соня не разрешала маленькой Лиде заходить к ней. Стоило девочке появиться у бабушки, как раздавался зов матери, на пороге появлялась Соня и уводила за руку сопротивляющегося ребенка. Петр Петрович все видел, но молчал.

Вскоре Ирина Осиповна умерла.

Недолгим было замужество Сони. От дизентерии умерла вторая девочка Рася. А когда Лиде было пять лет, Соня родила третьего ребенка. Роды были тяжелые. Баба-повитуха растерялась. Петр Петрович заявил, что идет за врачом. Но Соня строго приказала ему не вмешиваться в бабьи дела: она не впустит к себе доктора. К утру Соня умерла от потери крови. Так мрачной тенью через жизнь Петра Петровича прошла молчаливая, непонятная черноволосая женщина.

Он вдруг остался в страшном одиночестве с двумя маленькими детьми. Еля нашла кормилицу, которая забрала новорожденного мальчика, названного Леонидом, к себе домой. Еля же прислала и работницу, прибравшую к рукам домашнее хозяйство. Но Лида осталась беспризорной. Целый день бродила где хотела. Отец, занятый работой, видел ее только по вечерам. И тогда сам превращался в ребенка: играл с ней, мастерил кукол, сшил ей особый, придуманный им комбинезон на вате — штанишки с кофточкой. Петр Петрович часто навещал сына. Его удивляло, что ребенок всегда спит. Потом выяснилось, что кормилица, стремясь к спокойной жизни, поила ребенка отваром из маковых головок, в которых содержался опиум. Мальчик сделался дефективным и принес много горя отцу.

Прошло два года вдовства. Жизнь была нудной. Лавка опротивела. В мечтах все снова и снова возникал дом на пригорке. И когда кто-то из знакомых сказал, что такой дом находится в ближайшем селе и родители дают его в приданое единственной дочке, Петр Петрович поехал искать свою "жар-птицу". Дом его поразил. Это было воплощение заветной мечты. Высокий, большой, светлый, стоял дом на пригорке. От дверей к самой воде бежала дорожка. А вокруг молодой фруктовый сад и большой виноградник. Всюду чувствовалась крепкая хозяйская рука.

Хозяева приветливо встретили гостя, но когда в комнату вошла невеста, жених весь внутренне сжался. У невесты была тяжелая поступь, зычный голос, крупные рабочие руки. Она была красива, напоминала богиню плодородия. Но разве о такой жене думал Петр Петрович? Он сбежал. Махновские долго смеялись, узнав о неудачном сватовстве своего родича.

Свою "жар-птицу" Петр Петрович все-таки нашел. У нее не было приданого, не было красоты. Она была просто милостивой скромной девушкой. Гуляя, она заходила к своей



тетке Евдокии Васильевне ("тете Дуне"), которая работала у богатых караимов белошвейкой. Месяцами она шила белье в какой-нибудь семье.

Осенью 1894 года работала Евдокия Васильевна в семье Шамаш. Была у них чулочная мастерская. Старик караим и его две немолодые дочери были друзьями Петра Петровича. У них и встретил он Сашеньку Трач. Старшая караимка Сарра Шамаш рассказала, что Сашенька родом из хорошей рабочей семьи, она уже немолода, ей 20 лет. Семья бедная. Но это не испугало Петра Петровича. Он влюбился с первого взгляда. В Сашеньке ему нравилось все: и наивные глаза, и яркий румянец, и немножко нескладная фигура. В девушке было еще много детского.

Началось сватовство. Предложение Петра Петровича было принято. Со свадьбой он торопил. Приближался Рождественский пост, когда не венчали, а дальше Рождественские праздники — тоже нельзя. Венчание было 6 ноября. Петр Петрович увез Сашеньку в Маяки.

## 6. Трачи.

Семейное предание говорит, что в 1821 году Тимофей Трач пришел на Большой фонтан с отарой овец. С ним была жена-турчанка. На Золотом берегу построили они землянку. А овцы заняли по левую сторону дороги участок земли от Золотого берега до Амбулаторного переулка.

Кто дал название берегу — "Золотой"? Может, и Трачи. Откуда пришел Тимофей Трач? Почему его фамилия напоминает молдавскую? Где он нашел свою жену-турчанку? Почему он поселился так близко у моря, хотя моряком не был и не стал? Неизвестно. Может, у него тоже была мечта о доме на пригорке. А от его землянки, конечно, сбегала дорожка прямо к пенистой воде. И море шумело день и ночь, шуршало прибрежными камнями.

Земля была здесь солончаковая, даже трава на ней плохо росла. Далеко от своей землянки, напротив монастыря, нашел Тимофей Трач плодородную землю и тоже взял себе столько, сколько хотел, никто ему не перечил. Тут он стал сеять хлеб. Сюда пригоняли овец, но жилья здесь не строили, с Золотого берега не уходили. Много детей было у Тимофея Трача, и все они стали хлеборобами, морем лишь любовались. Только старший сын Александр часто заходил в монастырь, подружился с монахами. Его привлекали книга, грамота. Там он и остался, стал монахом. Закончил семинарию, получил сан священника и приход-церковь на 9-й станции в женском монастыре. Своих родичей навешал редко. А к нему приходили, особенно в большие праздники, и братья, и племянники.

Сыновья и дочки Тимофея женились, выходили замуж, но от отца не ухилили. Тут же, на Золотом берегу, строили свои землянки. Одна дочка вышла замуж за Афанасия Голодного, другая — за Максима Глухенького. Как владетельный князь, давал своим детям Тимофей большие участки земли для жилья и для посевов. На долю сына Ивана пришлась широкая полоса по обе стороны Леваневского переулка. Тогда его называли Трачевским.

Иван Тимофеевич взял в жены кацапку-староверку. Наролили они троих сыновей и трех дочерей. Только два сына — Яков и Петр остались с отцом и сделались хлеборобами. Остальные ушли в город. Но к концу жизни все вернулись домой на те участки земли, которые дал им отец. Яков получил кусок земли, который одним концом упирался в улицу (Детский дом, Дача юристов), в другом конце переулка поселился Петр (дача Недбайлик, Черненко). Дочка Лизавета Ивановна вышла замуж за моряка, а оставшись вдовой, дала три тысячи подрядчику, и он выстроил добротный дом под цинковой крышей (квартира Захарченко). В этом доме, в двух хороших комнатах с застекленной верандой, решила дожить свой век тетя Лиза. В одной из комнат была кафельная плита, а в стене, в шкафу

— водопроводный кран. В доме было еще три маленькие комнаты с открытыми верандами. В каждой был стол и два стула, кровать и умывальник. Эти комнаты предназначались для дачников.

Напротив калитки стояла землянка Ивана Тимофеевича, где он жил с дочерьми. Ему принадлежал весь большой двор, окна землянки смотрели на участок, который был передан старшему сыну Федору — нашему будущему деду. В углу участка тоже была землянка. Здесь жил Федор, когда начал вместе с отцом пахать землю и выращивать хлеб. Но эта работа была ему не по душе. Дядька-монах поддержал племянника, когда тот рассказал ему о желании идти на завод. Монах помог ему стать рабочим свечного завода. Завод находился в степи рядом с Дальником на Архиерейском хуторе. Работа нравилась Федору, она ежемесячно приносила деньги. Федор купил большие карманные часы с толстыми серебряными крышками. Он хвастался ими когда приезжал на Фонтан, а дома он бывал каждую неделю. Потом стал появляться реже. Догадливые сестры сообразили, что, вероятно, воскресные дни Федор проводит с какой-нибудь девушкой. Федору было 27 лет. И они не ошиблись.

На завод за свечами всегда приходил дальницкий дьячок Василий Полеваха. Как-то он заболел, и вместо него пришла дочь, 17-летняя Фрося. Она сразу заметила, что понравилась Федору. Парень он был крупный, высокий, напоминал немножко медведя: неповоротлив, неговорлив, лицо крупное, небольшие, запавшие глаза. У него была добрая усмешка, и Фросе нравилось поддразнивать его. Она сразу подметила, что Федор, смущаясь, часто вынимал свои часы, что, пытаясь что-нибудь Фросе рассказать, всегда начинал одной фразой: "У нас на Фонтане..." Было видно, что Фонтан он очень любил. Федор стал частым гостем у дьячка. Однажды насмешливая Фрося спела ему сочиненную ею песенку:

"У нас на Фонтане,  
Часы в кармане,  
Ах, пора обедать".

Федор от души расхохотался и, осмелев, заявил, что они должны пожениться.

Молодожены поселились на Архиерейском хуторе и прожили здесь пять лет. Соблазнили Федора работой в городе, во вновь открытых железнодорожных мастерских, на станции Товарной (Январский завод). Сняли квартиру поближе к работе — на Ближних Мельницах. Когда переезжали, было у них уже две дочки — четырехлетняя Ора и двухлетняя Саша.

Трудно жилось семье. Фрося родила семерых детей, но двое умерли, а остальным пяти часто не хватало хлеба. Федор работал на заводе строгальщиком. Часто у них бывали простои, неравномерно поступало сырье. Потому работали только половину рабочего дня. Иногда три-четыре раза в неделю. Не было денег на покупку хлеба. Тогда относил Федор Иванович свои серебряные часы в заклад, а домой приносил в мешке муку. Дети радовались: теперь мать будет часто на обед варить галушки, а вместо хлеба печь коржи-перепочки. Но жизнь шла своим чередом. К большим праздникам детям шили новые ситцевые платья, и отец водил их на площадь, где стояли пестрые карусели, и катал их на деревянных конях. Прогулка заканчивалась покупкой липких леденцов. А вечером приходили гости — родственники, кумовья. Детей укладывали пораньше спать, но они долго слышали веселый смех гостей, бубнящий голос отца, а потом звонкий голос матери, она была хорошей певуньей.

Ефросинья Васильевна умело хозяйничала, сама обшивала семью и очень любила читать. Уже когда я десятилетней девочкой приехала к своей бабушке Ефросинье Васильевне в гости, а ей в ту пору было немножко больше пятидесяти, я узнала, что в бабушкином сундуке хранятся замечательные книги. Бабушка разрешила мне познакомиться с ними, но приказала никому об этом не говорить. Она знала, что ее младшие дети — Катя, которая закончила прогимназию и акушерские курсы, и сын Илюша, выпускник учительской семинарии, Молодой учитель, с усмешкой относятся к читательским вкусам матери. Оказывается, моя бабушка увлекается детективной литературой и регулярно покупает дешевые книги о сыщиках. В сундуке я нашла номерные выпуски о Шерлоке Холмсе, Нате Пинкертоне, Нике Картере. Были там выпуски под названием "Пещера Лейхтвейса". На обложке была изображена круглолицая девушка с толстыми белокурыми косами. Были в сундуке и романы. Бабушка не дала их мне, только показала. Это были "Парижские тайны" Евгении Сю, "Одесские трущобы", кажется, Крестовского.

Федор Иванович нежно любил жену и никогда ее не осуждал. Он поработал строгальщиком железнодорожных мастерских 44 года, ежедневно приносил домой для растопки плиты маленькие аккуратные обрезки, которые он засовывал за пояс под рубашку. На проходной знали, что все рабочие так проносят "шабашки", и не проверяли. Дед насквозь пропах смолистым запахом дерева.

Умер он 74-х лет, все время работал, пока его не свалила тяжелая профессиональная болезнь — эмфизема легких. Умирал он от удушья долго, мучительно. Было это в 1920 году.



## 7. Сашенька.

Ближние Мельницы, которые так любовно описывает Катаев в своей замечательной книге "Белеет парус одинокий", отделенные от города линией железной дороги, напоминали провинциальный городок. Летом улицы покрывались травой, маленькие домики прятались в тенистых садах. Большинство населения составляли рабочие-железнодорожники.

Семья Трачей, поселившись здесь, не выходила за рамки принятых обычаев, жили спокойно, трезво, трудолюбиво. Детей воспитывали в большой строгости — наказание неизменно следовало за провинностью.

Саша была еще маленькой, когда задумалась над тем, как спокойно мать ежедневно докладывала отцу о поведении детей, никогда не забывала сказать, кто был непослушным. И отец, этот милый любящий отец, пообедав, брал в руки ремень и хлестал им виновника. Ведь ударить можно, когда рассердишься, не помнишь себя. А здесь... Шалость была еще утром, мать бранила, потом все об этом уже забывали, а родители вечером снова возвращаются к наказанию.

"Все потому, что мама доносчица", — думает Сашенька. Ей попадало редко. Она была послушна. Но вот произошло событие, которое запомнилось на всю жизнь. Старшую сестру Ору мать учила грамоте дома. Поблизости не было школы. А Сашенька внимательно прислушивалась, самостоятельно научилась читать и писать печатными буквами. Жадно хотела читать, а детских книг не было. И Сашенька читала и переписывала все, что видела, все вывески. Как-то Сашенька увидела на заборе какие-то слова, значение которых не знала, но старательно переписала на синюю бумажку, случайно подвернувшуюся под руку. Потом тщательно сложила и положила в карман. Вечером, когда дети спали, мать как всегда проверяла содержимое карманов их одежды. Так она нашла синюю бумажечку. На другой день она ничего не сказала Саше. Вечером пришел отец, пообедал, а потом позвал Сашу. Она весело подбежала к отцу. И тут случилось что-то ужасное. Ее схватили сильные руки, и милый отец превратился в страшного зверя. Его ремень исполосовал девочку. Два дня Саша пролежала в постели, родители с ней не разговаривали. Когда Саша стала выздоравливать, она спросила мать, за что ее били. "За синюю бумажечку", — ответила мать. А Саша забыла, не помнила ни о какой бумажечке. Не скоро дошло до ее сознания, за что ее так сурово наказали. Рано потеряла Саша доверие к родителям, веру в их справедливость.

Сашеньке было 10 лет, когда мать отвела ее в Михайло-Семеновское училище. Оно находилось далеко от дома, и только теперь Саша могла самостоятельно добираться до него. Училище находилось в высоком переулке. Там за высокой стеной был сад. В нем

купцы, братья Посоховы — Михаил и Семен — построили большое здание. В одной половине его был приют для детей-сирот, а в другой — школа для детей населения. Тогда у богачей было модно бросать подачки беднякам. И надо сказать, что целенаправленность этих подарков была удачной.

Негоциант Маразли в Книжном переулке построил овальное здание — народную читальню (сейчас 1-я городская библиотека). Много лет здесь был центр культурной жизни населения района, здесь проходили лекции, литературные вечера. Барон Масс на Старопортофранковской (Комсомольской) построил ночлежный дом — Массовский приют — длинное мрачное здание. Люмпен-пролетариат, бездомные бродяги, босяки порта могли за 5 копеек получить тарелку горячего супа и на ночь койку. Группа богачей-евреев построила и оборудовала лучшую в городе больницу. Сахарозаводчица Бродская, у которой на Большом Фонтане в парке была великолепная вилла (санаторий им. Горького), построила и оборудовала родильный дом. (А вот медицинское светило академик Филатов для "просвещения народа" в наше время на Французском бульваре построил... часовню; этими днями ее наконец закрыли).

Михайло-Семеновское училище состояло из четырех классов и по учебной программе равнялось двум классам гимназии. Нужно учесть, что женщины, у которых было в те времена четырехклассное гимназическое образование, имели право преподавать в сельской школе. Заведовала училищем молодая, революционно настроенная учительница Ольга Ивановна. В ее класс и попала Сашенька. Училище называли "девичьим". Здесь для Сашеньки открылся новый мир, полный чудес. Каждый день приносил новые знания. Сашенька много читала, старательно училась и не пропустила ни одного дня учебы. Ее не останавливала суровая зима, глубокие сугробы. Бывали дни, когда она единственная приходила в класс. Каждый год она получала от школы похвальную грамоту и книгу. В старшем классе, стремясь расширить знания учениц, Ольга Ивановна читала дополнительный курс основных предметов и научила девочек составлять конспекты.

Заканчивалась четырехлетняя учеба. Ольга Ивановна вызвала Ефросинью Васильевну и сказала, что Сашенька очень способна и ее надо учить дальше, если не в гимназии, то хотя бы в городском профессиональном училище с программой шести классов гимназии. "Но там надо платить 30 копеек в месяц, — возразила Ефросинья Васильевна, — а у меня их нет, дома есть и другие дети, им тоже надо учиться, а ведь среди них есть два мальчика, они должны иметь какую-нибудь профессию".

Потом Ольга Ивановна позвала к себе Сашеньку. "Ты большая девочка и должна понять. Школу ты заканчиваешь с отличными оценками. Но похвальную грамоту (она единственная в классе) на этот раз получишь не ты. Ведь дальше ты учиться, к сожалению, не будешь. А вот Светошина (дочка машиниста-домовладельца) поступает в

гимназию, и похвальная грамота ей облегчит поступление". Сашенька молчала, но была потрясена. Идеал любимой учительницы разбился вдребезги, и здесь нет справедливости.

В день окончания школы Сашенька в слезах вернулась домой и еще несколько дней плакала, а потом потеряла ко всему интерес, ходила с потухшими глазами, ничего не ела, ни с кем не разговаривала. Испуганная Ефросинья Васильевна отвезла ее в Дальник к своим родителям. Старый дьячок и его жена окружили Сашеньку заботой и вниманием. Часами лежала безучастная Сашенька во дворе под тенистым деревом. Бабушка кормила ее душистым медом и свежими просфорками, которые выпекала для продажи в церкви. Дедушка, маленький с седой бородой и длинными кудрявыми волосами, был похож на одного из святых, изображенных на иконах в старой церкви.

Сашеньке казалось, что ему недостает нимба над головой. Дьячок рассказывал Сашеньке о своем тяжелом детстве. Был он сыном крепостных. Но родителей не помнит, рано остался сиротой. Помещица, привлеченная херувимской внешностью мальчугана, взяла его в дом и сделала "казачком", мальчиком для мелких услуг. С ним обращались, как с собачонкой. Когда приезжали гости, надевали на него длинную вышитую белую рубашку с красным пояском. Он прислуживал за столом. Гостей забавлял его вид. Когда это надоедало, его прогоняли из комнаты, забыв накормить. А били часто. Послали как-то маленького Васю принести воды и дали хрустальный кувшин. Возвращаясь с тяжелым кувшином, Вася споткнулся, упал и разбил его. Испугавшись, он бросился бежать. Бежал, пока хватило детских силенок, а потом упал в траву у дороги и заснул в слезах. Здесь и нашел его купец грек Полеваха, который ехал в Одессу за товаром. Он поднял ребенка, расспросил его и привез дитя в подарок своей жене. Греки усыновили Васю. Когда приемные родители умерли, Василий Полеваха стал дьячком.

Деревенский воздух, покой, ласка деда и бабы восстановили силы Сашеньки. К осени она вернулась домой здоровой. А зимой ее пригласила к себе на житье тетя Надя, сестра отца.

К этому времени "фонтанский дед", как его называла невестка Ефросинья Васильевна, или "папенька Иван Тимофеевич", как называли дочери, умер. Свой наследственный участок на Большом Фонтане Надя и Дуня продали, а на вырученные деньги приобрели "дело". На углу Елисаветинской (Щепкина) и Преображенской есть дом старинной архитектуры. Он долго стоял пустым. Там не хотели жить. Говорили, что после совершенного кем-то преступления ночами в комнатах бродят привидения. За дешевую цену тетя Надя наняла в этом доме большую квартиру и организовала пансион. Ей помогала тетя Дуня.

Когда Сашенька пришла к теткам, в пансионе жили чиновник, пожилая одинокая женщина, которую тетя Надя называла "дедушка баронесса", и два студента. Тетки не разрешали Сашеньке выполнять грязную работу. Она помогала убирать комнаты, а потом ходила в магазины на центральных улицах за покупками. Тетки давали ей список



предметов и продуктов, и Сашенька покупала слоеные пирожки для баронессы, миндальное печенье для старого художника-итальянца, работающего в художественном училище, расположенном напротив, — этот итальянец приходил обедать. Обед назначался на определенный час, за столом собирались все: и хозяйева, и квартиранты — одной семьей. И всем нравилось это. Нравилось и Сашеньке. Она узнавала новых людей, каждый был ей интересен. А когда студенты стали снабжать Сашеньку книгами, стало совсем хорошо. Но Ефросинья Васильевна зорко следила за жизнью дочери. И когда весной Сашеньке исполнилось пятнадцать лет, вернула ее домой, так как сочла неприличным общение подрастающей дочери со студентами.

А дома в это время произошло большое событие. Ора полюбила красивого чиновника архиерейской канцелярии Якова Васильевича Сергиенко. Чиновник был молод и беден. Ефросинья Васильевна восстала против этого брака. Но дочь на этот раз не подчинилась. Встряхнув длинной косой, она заявила, что убежит из дома. Пуще всего боясь того, "что люди скажут", Ефросинья Васильевна дала согласие. Чтобы помочь молодоженам, родители на два года поселили их у себя. В квартире стало тесно. Поэтому, когда другая тетя Дуня, белошвейка, предложила Сашеньке место не то чтицы, не то компаньонки у старой караимки Ходжи, ее отпустили.

Ходжи была богата. Когда муж умер, а дочки вышли замуж и уехали в Крым, она осталась одна в большой квартире. С ней были две служанки, но тоже немолодые женщины. Сашеньке дали отдельную комнату. Обязанности у нее были несложные. Почитать старухе газету, пойти с ней погулять, сделать несложные покупки, поболтать за вечерним чаем. Но все это было очень тоскливо. Сашенька бродила по большой квартире, где было много ковров — на полу, на стенах, на широких диванах, даже на круглых низеньких столиках. Служанки убирали комнату, готовили еду и удалялись на свою половину. В квартире наступала тишина. Только когда из Крыма приезжала какая-нибудь из дочек с ватагой детей, в квартире начиналась суэта, слышался гортанный говор на незнакомом языке, на маленьких столиках, на подносах появлялись восточные лакомства — сладкая баклава, рахат-лукум, орехи. Дочери хлопотали о продаже одесского имущества, чтобы увезти мать в Крым.

Как-то Сашенька в своей комнате сделала замечательное открытие, о котором никому не сказала. Под ковром в стене оказался шкаф. Он был набит книгами. Большая часть из них — на французском языке, но много было и французских книг в русском переводе: мемуарная литература времен Наполеона I, романы мадам Жанлис и мадам де-Сегюр, произведения Дидро и Вольтера, полное собрание произведений Дюма, Поль де-Кока, Мало, Жорж Занд, Гюго. И началась у Сашеньки странная жизнь. Как только дом погружался в сон, она открывала заветный шкаф и читала до рассвета. Читала беспорядочно. То была в центре дворцовой интриги вместе с графом Монте-Кристо, то

страдала с Кон-суэллой, то вместе с несчастной сиротой, героиней романов Мало, наконец обретала покой в приютившей ее семье. Сашеньке казалось, что каждую ночь она качается на высоких волнах. Засыпала только на рассвете. Утром с трудом открывала уставшие глаза. На прогулках, сидя на Приморском бульваре вместе с госпожой Ходжи, она еле преодолевала сладкую дремоту.

Ефросинья Васильевна, навещавшая дочь, никак не могла понять, почему в такой хорошей обстановке Саша худеет, бледнеет, глаза у нее стали туманные, в движениях исчезла резвость. Трудно сказать, чем закончились бы ночные чтения, если бы они не были прерваны приездом дочери Ходжи. Дом был продан. Госпожа Ходжи уезжала в Крым. Сашеньку щедро наградили. Она очень хотела попросить в подарок книги. Она знала, что книги никому не нужны и, возможно, тай и останутся в шкафу в старом доме. Но ей стыдно было признаться, что она тайком проникла в чужой шкаф.

И опять возвращение домой, и опять лишний рот в семье, лишняя кровать в квартире. Сашеньке шел 17-й год, когда она стала бонной в немецкой семье Бергов. Снова рекомендация тети Дуни. Госпожа Берг приехала к Трачам и осталась ими очень довольна. Потом она не раз повторяла Сашеньке: "Помните, что вы из хорошей рабочей семьи". Воспитанником Сашеньки стал пятилетний мальчуган Филиппчик, который вскоре очень привязался к своей новой приятельнице. Семья Бергов не считала себя богатой. Госпожа Берг любила говорить, что они труженики. Господин Берг состоял членом акционерного общества, которое возглавлял барон Масс, и занимал там должность кассира. У него был особняк на Троицкой улице, выезд, кучер, кухарка, горничная, няня, месячная прачка. С утра он уезжал на работу, а госпожа Берг надевала крошечный передник и прикрепляла у пояса ключи. Она выдавала кухарке из кладовой провизию, вела записи в книге расходов, маленькой метелочкой из птичьих перьев сметала пыль с безделушек, потом отправлялась за покупками или к родственникам. Тогда она брала с собой Филиппчика и Сашеньку. Лошадей запрягали в коляску, и они ехали на 2-ю, 3-ю станции или на Французский бульвар.

У большинства родственников фамилия была тоже Берг, но с различными добавлениями — Штапельберг, Вальденберг, Ротенберг. Сашеньке казалось, что Берги заполнили всю Одессу. Они жили в особняках, что прятались в глубине обширных садов.

От ворот к дверям дома Бергов вела длинная аллея пирамидальных тополей. В гостиной собиралось женское общество. Шла веселая болтовня на немецком языке, в руках мелькали спицы. Это готовились мужчинам подарки к Рождеству — шерстяные напульсники, шарфы, жилеты. Если госпожа Берг оставалась дома, Сашенька гуляла с Филиппчиком по городу. Ближайшие от дома улицы были заняты магазинами. Но чаще всего прогулка совершалась в коляске. Кучер катал Сашеньку и Филиппчика по

Французскому бульвару, заезжал в Воронцовский переулок за господином Бергом, который к этому времени заканчивал работу, а потом ехали домой. Сашенька сидела за господским столом, чинным и скучным. А из кухни доносились веселые голоса, там обедали кучер, кухарка, горничная, нянька. Сашенька завидовала их веселью, а госпожа Берг говорила:

— Сашенька, реже ходите на кухню, там ругаются, а вы из хорошей рабочей семьи. Сашенька, не дружите с горничной Верой, она грубая.

Барыню не любили. Вера, весело подмигивая Сашеньке, клала для растопки в печку стеариновые свечи, которые госпожа Берг выдавала для освещения. Госпожа Берг, записывая расходы, удивлялась:

— Куда пошло столько свечей, Вера, ведь вы их не кушаете?

— Что вы, барыня, ведь они же стеариновые! — отвечала Вера.

После обеда Сашенька рассказывала Филиппчику сказки. Ее одолевала скука, она иногда засыпала на половине фразы и просыпалась от удивленного голоса Филиппчика:

— Сашенька, вы опять говорите чепуху!

Иногда Сашенька выходила на открытую галерею и смотрела на двор, где шла веселая суета, и пробежавшие приказчики, таская какие-то ящики, улыбались девушке.

— Сашенька, не забывайте, что все приказчики обманщики, — раздавался голос госпожи Берг.

У Сашеньки появились какие-то боли в области живота. По утрам господин Берг, протирая стекла очков и забавно потягивая носом воздух, спрашивал:

— Ну, как, Сашенька, желудок был?

Смущенная девушка краснела до слез. Однажды боли стали такими резкими, что вызвали домашнего врача. Тот установил, что у Сашеньки острый приступ аппендицита.

Заложили коляску, положили подушки и привезли Сашеньку домой в Занделовский переулок у самой товарной станции, куда переехали Трачи. Ора жила уже самостоятельно на своей квартире, у нее была белокурая Тина.

Больше Сашенька нигде не работала. Она убирала квартиру и вязала бесконечные нитяные кружева для белья. Ефросинья Васильевна, чтобы дочка не испортила рук, не разрешала заниматься ей кухней или стиркой. Когда Сашенька шла в город, мать требовала, чтобы она обязательно надевала корсет, шляпку, перчатки. Саша часто бывала

у сестры. Там ее увидел сослуживец Якова Васильевича, ничем не примечательный молодой чиновник Приходько. Сашенька ему приглянулась, но едва он заикнулся о сватовстве, Ефросинья Васильевна ему резко ответила:

— Второго "бесштанного" в дом мне не нужно. Хватит одного.

И вышла из комнаты.

Федор Иванович был сконфужен выходкой жены и попросил прощения у неудачника жениха. Тот нашел в себе мужество усмехнуться и сдержанно заметил: "Больной человек".

Когда тетя Дуня узнала от Шамаш о предполагаемом сватовстве Петра Петровича, были обсуждены все данные жениха. Состоялась встреча. Жених не понравился Сашеньке. Он был бледный и вялый. У Петра Петровича, как всегда по приезде в Одессу, болела голова. Но Ефросинья Васильевна ответила дочери:

— Конечно, жених немолод, вдов, с детьми, но ведь и тебе уже 20 лет. Что же ты хочешь остаться старой девой? И потом, не забывай, у тебя нет приданого.

И Сашенька покорилась. Сватовство проходило быстро. Петр Петрович не мог часто и надолго оставлять дом.

На семейную вечеринку "заручены" он принес невесте подарок: на подвенечное платье белый атлас с выпуклыми цветочками (помогла купить Сарра Шамаш) и золотое кольцо — массивное, красивой формы с большим розовым рубином. Он выбрал его сам. На другой день жених и невеста должны были поехать на Фонтан за какими-то документами. Был легкий морозец, Саша надела прюнелевые ботинки, легкую шляпу. Мороз раздурмянил ее щеки и кончики маленьких ушей. Она глянула на жениха, а он съежился от холода. У Сашеньки защемило сердце.

Венчание было в Алексеевской церкви. На свадьбу пришли сестры Шамаш. Они принесли в подарок невесте серебряный рубль. Брат Ели Ваня Слем-зин был приглашен главным шафером. Он приехал в карете, в которой отвез невесту в церковь, и подарил Сашеньке огромный букет цветов. За свадебным столом весь вечер Иван Александрович провел с невестой. Так Сашенька и не могла потом решить, какие мысли были у Вани Слемзина — добрые или злые, когда он ей говорил, знает ли она о том, что жених больной человек. Что заставляет ее выходить замуж за него, ведь он вдвое старше невесты, у него двое детей — ненужных ей, чужих. Жить она будет в глуши, далеко от культурной жизни. Он, Ваня, хорошо знает Маяки, рад, что оттуда вырвался. Как можно уезжать из шумной, веселой Одессы, где так много интересных людей, развлечений, работы. Ведь Сашенька молодая, здоровая. Неужели она не найдет подходящего занятия? А вырваться на волю никогда не поздно. Она имеет право на волю, не должна ее терять. Пусть ничего не останавливает

Сашеньку. Невеста слушала Ивана Александровича, и у нее испуганно трепетали ресницы. Позже она передала этот разговор Петру Петровичу. А тот добродушно сказал: " Вот негодяй, а еще брат! Вот я ему задам при встрече". Но Сашенька Ваниных слов не забыла. Они врезались ей в сердце.

## 8. Заштатный городок Маяки.

Туманным ноябрьским днем приехала Сашенька в Маяки. Колеса экипажа глубоко погружались в грязь, маленькие дома под камышовыми крышами, почерневшими от дождя, были неприветливы. Казалось, что в них живут такие же хмурые, серые люди, как это нависшее небо, как эта река, извилистой лентой опоясывающая пологий берег. Старый дом был темным, комнаты уютными, не было видно заботливой женской руки.

Семилетняя падчерица Лида исподлобья, недоверчиво смотрела на мачеху: соседи сказали, что мачеха будет обязательно злой. Через неделю кормилица привела двухлетнего мальчика, который еще ничего не говорил и не имел никаких навыков. Работница увидев, что молодая хозяйка ничего не понимает в хозяйстве, сразу же отстранила ее от кухни. Мужу Сашенька долгое время говорила "вы". Он уходил в лавку на целый день, и Сашеньке казалось, что это очередная, навязанная тетей Дуней, работа, самая неудачная. И ей никуда от нее не уйти. Она вспоминала слова Вани Слемзина и горько плакала. Так прошло полтора месяца.

На Рождественские праздники родители приехали навестить дочку. Ефросинья Васильевна была довольна: ей понравился и дом, и его убранство, и сам Петр Петрович в домашней обстановке. Но когда Саша осталась с матерью наедине, она, захлебываясь от слез, стала ее умолять взять с собой в Одессу. Мать ужаснулась:

— Ты просто с ума сошла! А что люди скажут?

И с горечью добавила:

— Ты опять сядешь батьке на шею.

Сашенька замолчала.

Родители уехали через два дня. Петр Петрович видел угнетенное состояние Саши. Он был с ней неизменно ласков, тактичен, старался развлечь.

Перед Новым годом пришла Еля и принесла пригласительный билет на Новогодний традиционный бал, который устраивала Городская управа. Собираясь на бал, Петр Петрович предложил Саше надеть золотые украшения покойной Сони. Но Саша отказалась: вещи были чужие, они теперь принадлежат Лиде. Сашенька надела шерстяное светло-серое скромное платье с длинными рукавами и высоким воротником. Рукава и воротник были окаймлены шелковым кружевным рюшем. Пепельные волосы она стянула туго в узел на затылке. Над лбом пушилась челка, на руке было единственное украшение — перстень с розовым рубином. В пакет она завернула легкие бронзового цвета туфли на

низком каблуке, в них она венчалась. Шли по хрустящему снегу. Далеко были видны ярко освещенные окна Городской управы. Доносились звуки духового оркестра, играли вальс "Дунайские волны". В вестибюле вешалки уже были заполнены шубами, пальто, большими платками.

В зале их встретила Еля Махновская и звонко расцеловала Сашеньку. Потом она представила ее группе местных дам. Ате, окружив Петра Петровича, упрекали его в том, что он перестал у них бывать. Потом они объявили Сашеньке, что на весь вечер похищают у нее мужа, ведь он отличный танцор. Петр Петрович отшучивался. Шутки его были прямолинейны и грубоваты. Дамы хохотали и вскрикивали:

— Ох уж этот Петя!

Это были приятельницы Ели, они давно знали Петра Петровича. Все мужчины, как и Петр Петрович, были в длинных черных сюртуках. Двое из них направились к Петру Петровичу, а тот, взяв их за руки, подвел к Саше.

— Вот кто не даст тебе скучать. Знакомься. Это мои друзья — Карельман и Стогов.

Сашенька протянула руку Карельману, а когда повернулась к Стогову, у нее вдруг остановилось дыхание: перед ней стоял хорошо знакомый человек, она давно знает эту горделивую посадку головы, статную фигуру в хорошо сшитом костюме, следы летнего загара на лице, а главное — глаза, эти чудные, все понимающие глаза. Это был герой многих прочитанных Сашей романов. Андрей Стогов спросил, какие новые танцы знает молодая одесситка. А Сашенька, смеясь, без тени смущения, ответила, что в жизни своей очень мало танцевала — только на нескольких свадьбах, а потому не только не знает новых танцев, но плохо танцует и старые. Стогов заявил, что это неважно, сегодня с ним она будет танцевать все танцы.

— Рондо! Рондо! — кричал распорядитель танцев.

Все взялись за руки и образовали большой круг. Стогов и Саша включились в него. В такт музыке круг плавно двигался вправо и влево.

— Вальс! — раздался голос распорядителя.

Все закружились. Стогов подхватил Сашеньку, и они заскользили по залу. Сашеньке казалось, что она легкая, как пушинка, и просто плывет в воздухе. Впервые за последние месяцы на сердце у нее было легко и не хотелось ни о чем думать. Она много танцевала с Андреем, нужно было только улавливать ритм музыки и повторять движения Стогова. Отдыхая от танцев, они разговаривали — непринужденно, весело. За ужином сидели рядом. Раздавались веселые тосты, юмористические поздравления с Новым годом. У

Сашеньки кружилась голова — то ли от танцев, то ли от выпитого вина. Когда возвращались домой, Петр Петрович бережно вел Сашу по скользкому снегу. Рядом шел Стогов. Они дошли до дома. Стогов попрощался, поцеловал Сашеньке руку и ушел. Саша счастливо рассмеялась и благодарно прижалась к плечу мужа.

— Ну, что? Влюбилась в Андрея? — весело спросил тот, а потом серьезно добавил:

— В него нельзя не влюбиться. Он замечательный. Завтра я расскажу тебе о нем подробно.

Саша узнала, что Стогов — сын самой богатой женщины в Маяках, живет и работает у нее в качестве приказчика. Мать не хочет считаться ни с его замыслами, ни с его стремлением жить самостоятельно своей жизнью, со своей семьей. Она грозит лишить его наследства, если он вздумает оформить свой брак с женщиной, которая ей не нравится. А она это может сделать, так как в основу богатства вошло ее приданое, которое всегда было закреплено за ней. Андрею бросить бы и свое богатство, и мать и уехать. Он не пропадет. Но сейчас это сделать трудно: у Андрея семья, да и в капитал вложено много труда. Он работает уже давно, ему 36 лет. С детства ему не дали учиться систематически. Но когда он повзрослел, то наверстал упущенное. Каждую зиму он приглашал преподавателей, выдержал экстерном экзамен за курс гимназии, а сейчас серьезно занимается историей. Он очень добр, его любят рабочие. С ними он ведет себя как товарищ, со многими дружит. В городе его уважают, часто обращаются за советом и помощью. Сашеньке казалось, что она читает новую увлекательную книгу со старым любимым героем.

Шестого января, на Крещение, вся семья пошла на реку на Водосвятие. Там была сделана большая прорубь, а рядом возвышался огромный ледяной крест, раскрашенный разноцветными красками. Собралось все население города. Многие здоровались с Петром Петровичем. Он знакомил с ними жену.

Ярко светило негреющее солнце. От мороза на ресницах налипли льдинки. Стройно пел церковный хор. А Сашенька с жалостью смотрела на священника, у которого была открыта голова, а руки без перчаток прижимали к груди серебряный крест. Как только закончилось богослужение, все бросились к проруби с кувшинами, бутылками, чтобы набрать в них "святой водицы". Петр Петрович тоже наполнил бутылку. Потом несколько смельчаков стали купаться в проруби, вызвав оживление в толпе.

Дома Петр Петрович вылил воду из бутылки в мисочку и сделал из прутьев венчик. В сопровождении детей он обошел все комнаты, напевая вполголоса какую-то молитву, и побрызгал водой все углы.

— Теперь из нашего дома на весь год изгнана вся нечисть — болезни, горести, вздохи!



Глаза его смеялись. Саша не знала, серьезно он говорит или шутит.

В этот день их пригласили Махновские на семейный обед. Никого чужих не будет. Саша принарядила Лиду. Петр Петрович взял на руки закутанного мальчика Леню. Махновские жили в родительском доме Ели. Комнаты были светлые и уютные. В столовой уже был красиво сервирован стол. Еля сейчас же увела детей в детскую, где для них был приготовлен обед на низком столике, и поручила их своей маленькой дочке Жене.

Дверь в детскую была открыта. И сидя в столовой, Еля наблюдала за детворой, а Саша удивлялась, как спокойно они себя ведут. За столом Саша познакомилась с последним представителем старшего поколения Слемзиных, дяденькой Максимом Алексеевичем. Он так и остался холостяком и жил у Ели. Максим Алексеевич погладил новую племянницу по голове и поцеловал ее в лоб.

Еля подавала на стол какие-то замысловатые блюда и не забывала говорить, что они вкусные и она приготовила их сама.

— Хвастунья, — говорили ей муж и двоюродный брат.

У Ели, действительно, все получалось красиво, удачно. И это подавляло Сашу. Она казалась себе неловкой, сразу заметила, какое мешковатое платье на Лиде. Глядя на улыбающегося Павла Леопольдовича, думала, что привлекло шумную, яркую Елю к некрасивому еврею-бедняку фельдшеру Махновскому? Все свои жизненные впечатления, новые знакомства Саша потом долго обдумывала, осваивала.

Петр Петрович, будто зная это, медленно, постепенно вводил ее в свою жизнь, в круг своих интересов. Прошло довольно много времени, пока он не сказал:

— Завтра пойдем к провизору Карельману. Я тебя с ним знакомил, но ты бедного Карельмана не заметила. Еще бы, рядом был Андрей!

Семья Карельмана поразила Сашу обилием женщин. Вначале она путала, кто из них сестра, кто жена Карельмана. Потом, когда стала их частой гостьей, Саша увидела, что жена несколько не похожа на сестру, а сестер всего две. Дети были явно невоспитанны. Они повисали на шее у отца, все время попадали под руки, под ноги то матери, то бабушке, получали очередной шлепок, но не успокаивались. Забавно морщась от дыма папиросы, Карельман говорил, что в доме так шумно, что он скоро сбежит. Но Саша видела, как он при этом крепко прижимал к себе малыша, как лучились его глаза. Худощавость делала его похожим на юношу. У него были узкие плечи и впалая грудь. Мать Карельмана упрекала Петра Петровича за то, что он долго не показывал свою жену. А Саше она говорила, что очень любит Петю, знает его с детства, ведь это задушевный друг Карлуши, что Петя у них часто бывает, любит некоторые еврейские блюда. Она

научит Сашеньку готовить по-еврейски рыбу. Сестры Карлуши расспрашивали Сашу об Одессе, рассказывали о жизни своего города. Саша пила вкусный чай, с интересом слушала собеседниц, и ей казалось, что и у нее есть друзья.

Карельман заметил, как Саша с интересом поглядывает на книжный шкаф, и спросил, любит ли она читать, какие книги любит. Брови его дрогнули, когда он услышал от Саши смесь имен и названий. Он посмотрел на Сашу внимательно и ласково сказал, что сам будет подбирать для нее книги и приносить ей. Он просит разрешения принести к ним в дом свою виолончель, так как соскучился по музыкальным встречам с Петром и Андреем. Свое обещание Карельман выполнил очень скоро. А для Саши снова раздвинулись рамки ее жизни: в нее вошли книги. Но сейчас она читала их уже по-другому — спокойно и вдумчиво. После каждой беседы с Карлушей ей хотелось снова если не прочитать, то хотя бы перелистать книгу, знать больше о ее авторе, о том времени, когда он жил. Карельман приходил вечером, когда дети уже спали, самовар на столе допевал свою песню, Саша в кресле, придвинувшись к лампе, читала, а Петр Петрович играл на скрипке. Его подбородок упирался в край скрипки, тело слегка раскачивалось. Он играл народные песни, которые подслушал на молдаванских свадьбах, плясках, джогах, у бродячих цыган. Большинство мелодий было грустных. Карельман говорил о красоте народных песен, о музыке цыган, которая нашла свое отражение в творчестве многих венгерских композиторов. Саше казалось, что Карельман знает решительно все. От него она впервые услышала имена: Шопен, Шуман, Глинка, Бетховен.

Карлуша не только рассказывал о них, он играл их произведения на виолончели, учил Сашу их понимать. Понимала она немного, но вскоре научилась различать мелодии Моцарта. Ей казалось, что в каждом его произведении звучит звонкая солнечная нота. Карельман становился для Саши незаменимым. Теперь ей было понятно, как Еля полюбила некрасивого Махновского. К тому же Махновский и Карельман были двоюродные братья. Часто на огонек приходил и Стогов. Он упрекал "несчастливых домоседов", которые сидят в теплой квартире и не хотят замечать прелести зимней ночи. Он заставлял их тепло одеваться и идти с ним на замерзший Днестр, чтобы научить Сашу кататься на коньках. Но чаще всего он находил лодочкины сани, и все по очереди спускались в них с ближайшего холма. Петр Петрович говорил:

— Хорошо, что соседи спят и не видят, как верзила, которым скоро будет 40 лет, барахтаются в снегу.

Все хохотали, а Саша волновалась, как бы Карлуша не потерял очки.

— А теперь можно и горяченького чайку выпить! — говорил Андрей, заканчивая забавы.

После чая друзья втроем разучивали какое-нибудь новое произведение. Стогов играл на гитаре. Руководил, конечно, Карельман. Жизнь Саша наполнилась содержанием, работой. Она отпустила работницу, и в квартире сразу стало свободно. Над Сашей не было контроля. Она сама готовила еду, и, несмотря на подробные рецепты, которые ей разъяснял муж, на столе часто появлялись блюда, вызывающие сомнение в их съедобности. Но Саша не слышала от мужа ни одного упрека. Он всегда ее подбадривал, шутил и старался во всем помогать. По утрам он будил Сашу вместе с детьми. К этому времени уже бурлил самовар.

Саша стала учить Лиду грамоте, и они подружились на всю жизнь. К болезни Петра Петровича Саша с первых дней приезда отнеслась с большой жалостью. Она не могла равнодушно смотреть на страдающих людей. И здесь она старалась всячески заглушить боль и пробовала разнообразные средства: то она приносила горячие влажные полотенца и туго обвязывала голову больного, то обкладывала ее прохладными капустными листьями. Приносила горячий кофе, упрасивала, как маленького, съесть хоть одно яйцо. Неизвестно от чего, может быть, просто от Сашиних забот, но больному становилось легче, и он засыпал. Тогда весь дом ходил на цыпочках, все время раздавался громкий шепот Саша: "Ш-ш-ш... Папа спит". Бледный, но улыбающийся, показывался, наконец, на пороге спальни Петр Петрович. С тех пор в семье установился прочный закон: сон — это здоровье. Надо бережно относиться к спящему человеку. Саша убедила Петра Петровича в необходимости ежедневного послеобеденного отдыха. Встает он рано, а сон восстанавливает силы. Болеть он стал реже.

Наступила весна. Под окном часто раздавалось: "Петя!". Это знакомые рыбаки приносили самую лучшую только что выловленную рыбу, зная, что Петя заплатит за нее любую цену. Из этой рыбы он готовил удивительно вкусные блюда.

Летом Андрей ушел в плавание. Ранним утром, когда над рекой еще нависал туман, предсказывая обильную росу, Петр Петрович с Сашей и Лидой шел купаться. Лида бежала впереди и резвилась, оставляя в мягком речном песке отдели следы босых ног. Сашу муж учил плавать, но без него она боялась оставаться на воде и предпочитала барахтаться у берега. А Петр Петрович уходил от нее все дальше, равномерно, не спеша, как бы нехотя взмахивая руками, и вскоре еле виднелся на противоположном берегу. Саша знала, что на обратном пути он обязательно нырнет, и она долго с замиранием сердца будет ждать, пока его голова покажется на поверхности воды.

Проходило и лето. Махновские собирались переезжать в Одессу: Павел Леопольдович поступил в университет, хотел стать врачом. На пристани было мало работы. Город Маяки превращался в село. Лавка не приносила никакого дохода. Семья решила переехать на новое, более доходное место. Осенью, уезжая в Бессарабию, в Аккерманский уезд,

Сашенька с грустью расставалась с Маяками. За этот год она узнала подспудную жизнь городка, его жителей, многих успела полюбить.

## 9. Ностальгия.

Население села Русско-Ивановки, сейчас Старо-Козацкого района, куда переехали Слемзины, состояло из потомков переселенцев-староверов. Жили они зажиточно и замкнуто. Даже сейчас обращают на себя внимание их усадьбы. Все крыши домов железные, дома высокие, усадьбы окружены забором. Но дом, в котором поселились Слемзины, был открыт со всех сторон и стоял у самой дороги.

Новая лавка привлекла внимание жителей. Она была универсальной. Там можно было найти все: и гвозди, и хомуты, и шелковые ткани, и вкусное печенье. Товар раскупался быстро. Петру Петровичу приходилось раза два в месяц ездить за ним в Одессу. Он купил старого коня Ваську, тарантас. Выезжал обычно в сумерки, положив в карман значительную сумму денег. Никто не думал о возможности грабежа. Возвращался дня через три с полным тарантасом и обязательно привозил подарки детям, никогда не забывая о жене, — то это была толстая пушистая фланель на халат, то заморские фрукты. Чтобы Сашеньке не было тоскливо в дни отъезда мужа, в дом была взята баба Олечка, которая знала все село. Она была украинкой и относилась к Саше, как к дочке. Лида поступила в школу.

Сначала Сашенька была занята устройством новой жизни, но постепенно все уладилось, и жизнь стала походить на равномерное, монотонное качание маятника. Когда Саша думала, что такое может продолжаться всю жизнь, ей становилось страшно. И она снова вспомнила слова Вани Слемзина. Но что она могла изменить? Саша научилась ценить доброту и заботу мужа. Карельман научил ее пристальнее вглядываться в жизнь, видеть хорошие стороны людей. Сашенька знала, что она очень нужна Петру Петровичу, семье. Но ей хотелось еще и иной жизни. С каждым днем ей становилось тоскливее.

Летом приехала погостить Ефросинья Васильевна с младшим сыном Илюшей. Саша им очень обрадовалась, но скоро увидела, что жизнь ее стала напряженной. Ефросинья Васильевна была очень обидчива. Она привыкла к почтительности. Не только внучки, но уже взрослые дети говорили ей "вы". С большой почтительностью относился к ней и муж старшей дочери Оры. А Петр Петрович изысканными манерами не отличался, не умел скрывать своих чувств и настроений, всегда говорил, что думал.

— Ты опять обидел маму? — говорила ему Сашенька.

— Чем? Когда? — искренне изумлялся Петр Петрович.

— Ты сказал, что глупо летом печь пироги с капустой, когда есть столько фруктов.

— Ну и сказал. Ведь это правда.

— А мама обиделась, пироги пекла она.

Петр Петрович пожимал плечами.

— А потом ты чертыхнулся, когда увидел, что Илюшенька заставил Ваську скакать во весь опор, — продолжала Саша.

— И опять чертыхнусь, если увижу. Он покоя не дает бедному Ваське.

— Мама собирается уезжать.

Илюша, которому было 14 лет, со всей мальчишеской страстью влюбился в Ваську. Он все время кормил его сахаром, обнимал, целовал его мягкую морду, садился верхом, заставлял то скакать галопом, то бежать рысью. Васька терпеливо все переносил.

Однажды Саша увидела, как Илюша, сидя верхом, размахивая руками и ногами, заставил Ваську мчаться изо всех сил прямо к сараю, где была очень низенькая дверь. Сашенька охнула и закрыла лицо руками. Когда она пришла в себя, то увидела, что умная лошадь, вся дрожа, в пене, стоит у самых дверей сарая, а юный всадник успел скатиться на землю. Когда гости уехали, Саша свободно вздохнула.

Так прошел второй год замужества Саши. За это время она ни разу не была в Одессе. Она понимала, что не на кого оставить дом и детей. Но она очень соскучилась по сестрам, братьям, по всей семье, родственникам и просто по городу. Саша садилась на ступеньки крыльца и с глубокою завистью смотрела на людей, которые на возах, телегах ехали в Одессу за товаром. А потом с замиранием сердца ждала их возвращения. Они проезжали мимо Саши, и ей казалось, что они привезли аромат родного города. Ей безумно хотелось быть в Одессе. Когда она робко заикалась в беседах с мужем о возможностях в будущем жить в Одессе, он удивленно говорил:

— Ну что тебя там привлекает? Ты знаешь, как живут одесситы. Ведь они пьют чай из чайника и в лавке покупают четверть фунта масла и стакан варенья.

А Сашеньке хотелось бежать в Одессу хоть пешком.

Летом должен был родиться ребенок. Саша думала о нем с нежностью и грустью: еще одна цепочка, которая крепче привяжет ее к дому. В конце июля родилась дочка. Саша назвала ее Липой, как третью дочку Оры. Это в какой-то мере напоминало Одессу. У Сашеньки обнаружилась тяжелая болезнь, которой иногда болеют молодые матери — послеродовая эклампсия. Саша теряла сознание, все ее тело дергалось в судорогах. Испуганный Петр Петрович повез Сашу в Одессу к известному врачу Чудновскому.

Старый доктор, чтобы выяснить причину заболевания, долго расспрашивал Сашу, а потом заявил:

— Болезнь вашей жены называется ностальгия.

— Никогда не слышал такого названия.

— По-русски это значит тоска по родине. И чтобы от нее избавиться, вам необходимо переехать в Одессу.

— Это невозможно, доктор. Я связан своей работой.

— Вам придется ее изменить.

Увидев опечаленное лицо мужа, Сашенька робко сказала:

— А говорят, что в Кицканском монастыре монахи вычитывают болезнь и это помогает.

Петр Петрович был сконфужен: Саша повторила слова невежественной бабки Олечки. Но, к его удивлению, доктор оживился и веско сказал:

— Очень помогает. Вы должны туда поехать.

Потрясенному Петру Петровичу Чудновский стал давать указания, на сколько времени нужно поехать в монастырь и как себя там вести.

Обсуждая с сашенькиными родственниками предложение врача, Петр Петрович говорил:

— Как может умный врач верить бабским средствам?

Но предписание врача надо было выполнить. Стали собираться в путь. Заперли лавку на месяц, дома детей поручили бабке Олечке. Было начало сентября. Еще ничего не напоминало осень. На закате долгого знойного дня выехали на тарантасе. Глубоким вечером въехали в Кицканский лес. Младенец орал. Саше вспомнились стихи "Лесной царь":

"Кто скачет, кто мчится вечернею мглой, Ездок запоздалый, с ним сын молодой".

Она крепче прижала к себе дочку. Но в лесу пахло зеленью, никто не собирался отнимать ребенка. Утомленный Васька шел шагом. Вожжи в руках у мужа были опущены. В темноте вспыхивал огонек папиросы, зажатой в его зубах.

В монастырской гостинице им дали небольшую келью и принесли кувшин молока и большой кусок серого хлеба. Утром рассмотрели гостиницу. Она, как и монастырь, стояла в лесу, вблизи протекал Днестр. В гостинице жильцов почти не было. Плату за жилье и

еду здесь не брали. Жилец опускал в монастырскую кружку столько денег, сколько мог. Петр Петрович условился с монахами, как они будут лечить Сашу.

Рано утром, когда всюду лежала роса, раздавался мерный, глуховатый звон колокола, Саша пересекала пустынный двор и входила в полутемную церковь. Слабо мерцало несколько свечей. В сумраке церкви поблескивали золотые венчики над ликами святых, ризы на иконах. Из алтаря доносилось монотонное бормотание монахов. Прислонившись к колонне, Саша погружалась в полудремотное состояние. Проходило довольно много времени, пока она снова приходила в себя. В длинном подряснике, туго перетянтом в талии, по церкви не спеша двигался монах и гасил свечи. Саша подходила к ступенькам алтаря и становилась на колени. Из алтаря выходил старый монах с Евангелием в руках. Он покрывал голову Саши епитрахилью — полосой парчи — и клал на голову раскрытую книгу. Епитрахиль пахла воском и пылью. Книга слегка давила голову. Саша вслушивалась в славянские слова, которые читал монах, стараясь уловить их смысл. Потом монах осенял Сашу крестом, а она целовала его пухлую руку. Возвращалась в келью Саша усталая и сонная. Быстро выпивала стакан молока, кормила проснувшуюся дочку, туго заворачивала ее в чистые простынки и одеяла и передавала мужу, тот уносил ребенка в лес. А Саша ложилась в постель. В открытое окно заглядывали ветки деревьев, тянуло утренней прохладой, доносилось чириканье, свист птиц. Саша, как в воду, погружалась в сон. А проснувшись, видела ласковые голубые глаза мужа.

— Нас в трапезной ждет обед.

Обед здесь подавали в 12 часов дня. Кормили овощами и рыбой. На столе всегда стоял кувшин, наполненный пенящимся молодым вином, еще не набравшим градусы алкоголя. После обеда вся семья шла в лес, на берег Днестра. Здесь Петр Петрович рассказывал Саше новости. Монастырь напоминал пчелиный улей: есть трутни и рабочие пчелы. Трутни — богатые монахи, у которых есть своя келья и слуга-послушник. Остальные — это батраки, работающие по 10-12 часов в огороде и саду, в коровнике, в птичнике. Это даже не монахи, а просто рабочий скот. Рядом с монастырем есть село. Там живут неофициальные жены монахов и подрастают их дети. Монастырь получает большие деньги от купцов и невежественного населения.

Саша смеялась и просила мужа говорить потише. На душе у нее было спокойно. Она любовалась подрастающей дочкой и каждый день отмечала что-нибудь новое в ее движениях, взгляде. Так прошло больше трех недель. У Саши не было ни одного припадка. Щедрую плату положил в монастырскую кружку повеселевший Петр Петрович. Когда вернувшись в Одессу, он снова встретился с доктором Чудновским, тот, прищурив глаза, спросил:



— Ну, как, батенька, теперь вы верите, что монахи помогают?

— Я думал, доктор...

— Знаю, батенька, что вы думали. Не будем уточнять. Теперь скажите, когда вы переедете в Одессу?

— Не раньше чем через год.

— И то хорошо. Я не назначаю ни брома, ни валерьянки. Они вашей жене не нужны. Она будет жить ожиданием. У человека должен быть горизонт, тогда он будет здоров.

## 10. В кругу родни.

Чем мог заняться отец в Одессе, чтобы быть независимым, чтобы болезнь не прерывала работу. Он купил на окраине Молдаванки небольшой дом с несколькими квартирами. Молдаванка — часть города, где живет рабочий люд, имела свой центр, свои более приличные улицы и свои окраины. Та часть, которая примыкает к товарной станции, была заселена железнодорожниками. Почти вся Малороссийская улица застроена домами машинистов, есть среди них двухэтажные, даже трехэтажные. Здесь жил народ, обеспеченный постоянной работой. А маленькие кривые улицы, сбегаящие к Слободке, принадлежали бедноте — русской и еврейской.

Капитал отца был так невелик, что только там он мог купить какую-нибудь трущобу. На Картамышевской улице фасадное строение этой трущобы было, пожалуй, самым жалким. Вдоль длинного узкого двора тянулся флигель с четырьмя квартирами. Первая, хозяйская квартира, с большой застекленной верандой, состояла из двух комнат и светлой широкой кухни. Веранда была увита диким виноградом. Остальные квартиры надо было приводить в порядок. Отец трудился, не покладая рук. Без всякой помощи, совершенно самостоятельно, он выполнял работу каменщика, кровельщика, плотника. Он перedelывал стены, менял окна, двери, полы, крыши. Плата за квартиры была ничтожна. И все-таки живущая в них беднота не могла аккуратно платить, накапливала долг, потом квартиранты выбирались, и деньги пропадали. Дворника не было, отец выполнял его обязанности. Строгие городские следили за чистотой на улице и штрафовали нерадивых владельцев. В "царские" дни - в дни рождения, смерти, коронавания членов царской семьи, дома украшались трехцветными флагами, а вечером — разноцветными фонариками. Дворники должны были сидеть у ворот до 11 часов вечера.

— Иди к папе, он скучает, — посылала меня мама.

Я взбиралась к отцу на колени, и мы, прижавшись друг к другу, рассказывали, как прошел день. Потом отец удобно укладывал меня. Я прижималась щекой к его груди, слышала неровное дыхание. От отца пахло табаком — сорт выше среднего, фабрика Месаксуди. Мне было хорошо в кольце родных рук. Ночь теплая. Улица освещена керосиновыми фонарями. Над воротами раскачивается гирлянда разноцветных фонариков со вставленными в них свечами. Сквозь сон я слышу, как отец, осторожно ступая, несет меня в дом, в постель.

В Одессе мама наслаждалась общением с многочисленными родственниками. Отец изумлялся, как мама, возвращаясь из любой части города, умудрялась "по дороге" заходить к бабушке Ефросиньи Васильевне или к тете Оре. Она часто брала меня с собой, и я этому радовалась. У тети Оры уже было четверо детей. Смеясь, она говорила, что ей

неловко выходить на улицу: настоящая насадка с выводком цыплят. Яков Васильевич был прекрасный семьянин. Он ночами просиживал над дополнительной работой, чтобы была возможность к празднику купить детям новые платья, сделать елку. Елку взрослые украшали тайком, а мы, вся детвора, подглядывали через замочную скважину в детскую.

Как и Ефросинья Васильевна, тетя Ора очень считалась с приличиями и строго воспитывала детей, но по-иному. Как-то четырехлетняя Тина, придя с матерью в лавку, которая была в их доме, взяла из мешка орех и положила в карман. Дома мать обнаружила кражу и потребовала от дочки, чтобы она вернулась в лавку и призналась в своей вине, но встретила ярый протест. Тине было стыдно, она громко плакала. Тогда мать взяла ее за руку, привела и втокнула в лавку. Когда приказчик увидел перед собой горько плачущую маленькую преступницу с длинными белокурыми волосами, которая протягивала ему орех и давала слово, что больше никогда не возьмет чужое, он умилился и протянул ей конфету. Но мать запретила брать, сказала дочке, что она наказана и с ней не будут разговаривать весь день.

Рядом с семьей Сергиенко жили евреи. Боясь, чтобы к детям как-нибудь не проникло юдофобство, отец и мать никогда не называли их евреями, а только соседями. Как-то одна из девочек с радостью сказала матери, указывая на незнакомых людей:

— Смотри, мама, наши соседи! Эти люди говорили на еврейском языке.

Мои двоюродные сестры относились ко мне, как к родной, играли со мной, читали стихи из детских журналов. Но больше всего я любила играть со своим сверстником Ледей. Мы родились в одном году, в одном месяце. Уступая моим желаниям, мама сшила мне такой же костюмчик, как у Леди, и купила матросскую шапочку с длинными лентами. Я называла себя Мишей и была счастлива. Взрослые долго поддерживали мою игру.

В Одессе мама обнаружила у отца новое свойство: он оказался ревнивым. Не любил, когда Саша уходила к родственникам. У него болела голова, когда родственники приходили. И Саша с удивлением замечала, как быстро он выздоравливал, когда семья оставалась одна. Родственники скоро узнали характер отца, никогда не обижались на резкость его слов. За глаза называли его "Слемзин", смеялись, когда мама в разговоре с матерью, сестрами, тетками называла мужа только по фамилии "Слемзин".

— Твоя родня, — язвительно говорил папа.

— Но и твоя тоже, — отшучивалась мама.

В Одессе, действительно, оказалось много родственников у отца. Уже несколько лет здесь жили Махновские. Дружеские связи наладились с дочкой тетки отца Варвары Алексеевны Нилы, вышедшей замуж за адвоката Ивасенко.

Мама разыскала сестру отца Машу Фещенко. У нее было много детей, и жили они бедно. Маша относилась к брату неприязненно: не могла забыть выселение матери. Отец чувствовал себя виноватым, и это его раздражало. Маша полюбила ласковую Сашу, а та тайком от мужа часто ей помогала. Лида училась в городском профессиональном училище и тоже нашла своих родственников Касифо, сестер покойной Сони. Сашенька окрепла, расцвела. День ее был заполнен до краев: много близких людей, много книг, возможность ходить хоть изредка в театр.

Неожиданно состоялось знакомство с новым родственником. Из Сибири приехал брат отца Яков Петрович, сорока семи лет. Братья не видели друг друга 20 лет. Оба были взволнованы и растроганы встречей. Яков Петрович много рассказывал о Сибири, о городе Енисейске, где он жил\*. Он привез фотокарточку жены, молодой, красивой, стройной женщины, и сыновей — мальчиков в возрасте пяти и восьми лет. Сыновей было трое, Александр, Яков и Петр. Отец дал им родовые имена. Жизнь в Сибири, рассказывал Яков Петрович, здоровая, хорошая. Там любят дружбу, придираются к каждому предлогу, чтобы собраться теплой компанией. Например, в начале зимы придумали гурьбой приходиться к знакомым помогать в заготовке пельменей. Шумно, с песнями мужчины и женщины месят тесто, готовят мясо, лепят пельмени, замораживают их в мешках, относят для хранения на чердак.

Яков Петрович привез черную икру и какую-то особенную соленую и копченую рыбу. Одессой он был очарован. На многие часы он уходил из дому, а возвратившись, с увлечением говорил о нарядных улицах, о пестрой толпе, о шумном, бурлящем порте. Ему нравились фрукты, южные приготовления овощей. Ему хотелось все увезти с собой. Отец предложил ему взять с собой рецепт приготовления какого-нибудь южного лакомства, например, халвы, и сам увлекся своей затеей. Много труда приложил отец, чтобы выведать у греков секрет изготовления халвы. В нашем доме появился большой медный таз, особая мешалка, тахинное масло и какой-то мыльный корень, который напоминал огромную, высушенную петрушку. Началась варка халвы. Отец священнодействовал, вымешивая халвичное тесто. Приглашенные родственники терпеливо ожидали, когда на тарелках появится горячая, вязкая халва. Один Яков Петрович был равнодушен.

— Скверно ты, Петя, живешь, — говорил он, — где твои друзья, где вечеринки...

— Конечно, с выпивкой, — ехидно спрашивал отец.

— Конечно, с выпивкой! Разве это плохо? Ты не выносишь спиртного, потому что у тебя болит голова. Но для здоровых людей это такое удовольствие.

— Я понимаю, что можно любить вино, — защищался отец, — я сам иногда с удовольствием выпиваю стакан. Но сначала я люблю его цветом, я вдыхаю его аромат, но водка...

— Хороша и водка. Представь себе жгучий мороз. Ты пришел обедать. На столе горячие щи. И тут же рюмочка водки. Нет, ничего ты, Петя, не понимаешь. Не знаешь вкуса жизни. Живешь бирюком. Не умеешь оценить того, что тебе дает жизнь. Ты даже свою жену не понимаешь, не ценишь.

Отец в ответ добродушно смеялся. Несколько раз Яков Петрович был в театре вместе с Сашенькой и ее младшей сестрой Катей. А потом много дней не мог прийти в себя. Шагая по комнате и отбрасывая со лба русую прядь волос, Яков Петрович взволнованно говорил о музыке, о декорациях, о женщинах:

— Какие здесь женщины! Какие великолепные женщины. Я таких в своей жизни не видел!

Его жизнь в Одессе подходила к концу. Он стал задумчив. И вдруг неожиданно заявил отцу, что не может расстаться с Одессой. Отец был изумлен. Он предложил обдумать, как можно перевезти на юг всю семью Якова Петровича. Но тот замотал головой:

— Нет, жена ни за что не расстанется с Сибирью, там ее родина, у нее много родни.

Каким же другим способом можно было разрешить этот вопрос? Отец понимал, как тяжело Якову Петровичу снова расставаться с родиной, самому отправлять себя в ссылку. Несмотря на своеобразную прелесть Сибири, она была чужой Якову Петровичу. Но там его мальчики, которых он любил, о которых рассказывал, которые были ему дороги. Там жена, там устоявшаяся жизнь. Братья говорили долго и не могли найти выхода.

Яков Петрович все больше грустнел. Таким печальным, грустным, с опущенными плечами и оставался он до дня отъезда. Решили сняться на память семьей. Зашли за Машей. Она приготовила мужу лучшую рубашку, разгладила галстук. Но Яков Петрович неожиданно заявил, что сниматься с мужем Маши он не будет, тот ему не нравится, он некрасив. Сашенька возмутилась. Она Доказывала своему родственнику всю бестактность, жестокость поступка. Но Яков Петрович был неумолим. Маша посмотрела на брата с сожалением и махнула рукой. Снялись так, как он хотел. У мамы, по желанию

Якова Петровича, в руках был букет цветов. Позу для другой карточки придумал отец. Он пожимает руку брата, желает ему доброго пути. Но поза Якова Петровича нарушила замысел. Яков Петрович не слушает брата, он отвернулся от него, он не хочет никакого пути, он грустен, он не хочет уезжать.

Потом отец послал брату в Енисейск большую запаянную железную коробку, наполненную "греческим соусом" из синих баклажанов. Соус искусно готовила мама, а Яков Петрович писал, что целует за это красивые руки Сашеньки. А соус вызвал в Сибири восхищение.

Старший сын Якова Петровича Александр писал: "Отец часто говорит о юге. Я же непременно побываю в Одессе, не могу представить себе море, которое никогда не замерзает". Но он не приехал. В 1908 году Яков Петрович умер. Переписка прекратилась. По-видимому, семья уехала из Енисейска. И следы ее затерялись в обширной Сибири.

Четвертая зима жизни в Одессе была для семьи Слемзиных очень тяжелой. Отец заболел острым воспалением почек и был на грани смерти. Его самоотверженно выходила мама. Выздоровление было затяжным. Отец много думал и был встревожен возможностью смерти. Как только он начал выходить, сейчас же повел всю семью в фотографию, чтобы оставить о себе память. На фотокарточке он изображен худым, с длинной шеей, коротко стриженным. Мама тоже очень похудевшая.

Потом отец стал часто говорить, что очень боится оставить маму одну с детьми на этой отвратительной улице, в опротивевшей ему квартире без всяких средств. Он должен, пока жив, найти ей хорошенький домик на пригорке.

Тогда он спокойно умрет, а мама, глядя на запавшие глаза мужа, думала, что в первую очередь надо спасать его самого. Он гибнет в атмосфере скудной городской жизни, без просторов, без воздуха, без реки. Она не только не возражала, но горячо поддерживала его желание уехать из Одессы. Много поездок совершил отец по провинции, прежде чем нашел "дом на пригорке".

## 11. Дом на пригорке.

Это был не пригорок, но все же был склон и река. Река была далеко от дома, но все-таки между ними были только сады, и улица называлась Садовой. Отец купил в Тирасполе только что построенный дом. Резные деревянные кружева украшали его крыльцо. Резными были ворота и калитка. В правой половине дома были три небольшие комнаты. А вся левая половина принадлежала кухне. Одно ее окно смотрело прямо в сад, в другие окна со двора заглядывали ветви персикового дерева с розовыми цветами. Узкий двор отец сейчас же окаймил полосой простых народных цветов. Тут росли глазастые ноготки, душистые чернобривцы, ярко-желтые крупные "помняки", цинии с жесткими лепестками. А разноцветные астры и кусты каких-то мелких сиреневых цветочков пестрели до глубокой осени. Узкий двор переходил в такой же узкий сад. Их разделял низкий забор и стена широко раскинувшихся кустов простой розы. Из нее мама варила варенье. Земли под садом было очень мало, всего четверть десятины. Но так как сад был узкий, его полоса тянулась далеко. Соседние дворы заканчивались такими же садами. Между ними пролегали только узкие тропинки. Дальше шли квадраты больших садов. Межой были неглубокие канавки или ряды верб. И так на протяжении почти километра, до самого Днестра. Поэтому, когда через низенькую калитку войдешь в сад, он кажется бесконечным.

Мама придумала по утрам со мной ходить умываться росой. В середине сада был замшелый колодец. Вокруг него росла низкая с толстыми круглыми листочками трава. А дальше высокая лебеда. Вот на ней-то и лежала крупная роса. Мы ее собирали в пригоршни и погружали в них лицо. Потом вытягивали из колодца ведро воды. Дома мама мыла меня уже по-настоящему.

Весь день я проводила в саду. То мама поручала мне принести с грядок овощи Для обеда: "Не забудь зеленые яблочки для борща". То давала корзиночку и ножницы нарезать роз для варенья. В каждом цветке сидел огромный блестящий жук, вцепившись лапками в сердцевинку. Я не отходила от отца, мне нравилось смотреть на все, что он делает. Весной он щелкал садовыми ножницами, подчищал деревья, выкорчевывал старые, негодные. Легкими ритмичными движениями вонзал лопату в землю и переворачивал большие глыбы земли. И вот уже исчезала трава, земля в саду становилась черной, блестящей.

Но отец никогда не забывал обо мне. Он не тронул огромную старую грушу, ветки которой спускались до самой земли, полутемной прохладной даже в жаркие дни. А наверху груши он указал мне настоящую скамеечку из переплетенных ветвей, там можно даже лежать. Подле куста калины он оставил мне кусок нетронутой земли, покрытой густой травой с многочисленными желтыми одуванчиками. Отец научил меня взбираться

на самые высокие деревья. Особенно было трудно карабкаться по гладкому, шелковистому стволу ореха, где ветки росли довольно высоко. Это отец научил меня различать сорта деревьев по их коре, а весной узнавать, как пахнут цветущие деревья. Даже сейчас, в конце жизни, я могу в памяти восстановить и сладкий до приторности аромат цветов груши, и кисловатый запах вишни, и, особенно, нежный — розовых лепестков яблони. Если к ним прикоснуться губами, они кажутся такими упругими. Вот отец ловко срезает верхушку ветки и, отодвинув кору среза, втыкает туда черенок и туго забинтовывает. Это он делает прививки. Я хорошо уже знаю, как на одной яблони могут расти яблоки разных сортов. Отец приостанавливает работу и глазами показывает мне на маленькую серенькую птичку, которая сидит на соседнем дереве и, закрыв глазки, самозабвенно выводит затейливые трели. Я вижу, как у нее вздувается горлышко, — это соловей. Птицы нас не боятся, их много. Сады старые, запущенные, людей в них встретишь редко, а птиц много. Вот светлый, нарядный пробежал угод. Его рябенький хохолок складывается и распаивается, совсем как веер. Глядя на него, мы с отцом смеемся.

Вот отец дает мне кусок прозрачного клея. Он отодрал его от ствола вишни. "Это дерево плачет", — объясняет он. Мне нравится жевать липкий, застывший клей. Отец научил меня видеть красоту сада в любую пору года. В августе-сентябре в конце сада созревает чернослив. Фруктов так много, что листьев почти не видно. Каждая слива покрыта голубовато-сизой пылью, и этот уголок сада кажется весь сиреневым. Сливы падают на землю, она тоже сиреневая. А осенью, когда деревья стоят уже голые, мы медленно ступаем по толстому слою упавших листьев, остро пахнущих особенной, осенней приятной прелью. Тогда отец находит на верхушке дерева забытую сливку и сбивает ее палочкой. До чего же она вкусная, сладкая. А сейчас он подает мне грушу мягкую, сочную. Зимой мы тоже гуляем по саду. На отце короткий полушубок и высокая шапка. В валенках нам не страшно ходить по снегу. Веточки покрыты льдом и звенят, как стеклянные.

Сейчас, когда я ранней весной бываю на Фонтане и на 12-й, 13-й станции, вижу, как в вечерний час на фоне розового закатного неба чернеет вскопанная земля и четко вырисовываются ветки деревьев с набухшими почками, мне вспоминается мое чудесное, сказочное детство.

Отец приобрел несколько ульев и часами просиживает подле них. Я, конечно, с ним. Мы смотрим, как у маленького входа в улей на страже стоят дежурные пчелки, какую тяжелую ношу приносят маленькие труженицы. Вечером мы слушаем несмолкаемый шум в улье. Идет борьба за власть. Завтра старая матка уйдет со своими приверженцами. Нельзя упустить момента, когда вылетит рой. Надо сделать так, чтобы он не улетел далеко. Вот отец, набросив на голову и плечи сетку, венчиком сметает с дерева в сито



огромный клубок жужжащих пчел и помещает его в новый улей. Весной, а иной раз и в августе, когда в горах тает снег, Днестр разливается. Тогда можно в лодке разъезжать среди деревьев. Все волнуется. Отец втыкает палочку у края воды, а через час-два палочка уже еле видна. Однажды вода дошла почти до дверей, и мы на неделю перебрались на улицу, которая была выше нашей. Я люблю бродить босиком по невысохшей земле и иной раз, несмотря на запрет мамы, уйду далеко. Так легко перешагнуть через узенькую канавку, пройти через несколько чужих садов, раздвинуть ветки вербы и выйти на широкую проезжую, всегда пустынную дорогу. Летом на ней лежит глубокая, мягкая пыль, обжигаящая ноги. Меня сопровождает наш большой дворовый пес Дружок. Мы идем к реке. Здесь она делает излучину, берег высокий, обрывистый. Я боюсь подходить к самому краю, сажусь на землю и ползу. Дружок повторяет мои движения. Вот мы самом краю обрыва, Я свешиваю голову и долго смотрю на глинистые стены обрыва, в которых ласточки-береговушки просверлили глубокие норки для гнезд и суетливо то влетают, то вылетают. Днестр здесь широкий и, видно, глубокий. В некоторых местах вода кружится штопором, вероятно, здесь воронки. А на противоположной стороне стоит Киц-канский лес. Пахнет пригретая солнцем трава.

Как-то приехал Леда. Я показывала ему свои любимые уголки и повела к Днестру. Неожиданно мы увидели, как из воды показалась черноволосая голова, а потом голые плечи. Плыл утопленник. Мы чуть не скатились с обрыва. Бежали к дому не останавливаясь. А там, боясь, что нас накажут, ничего не говорили. До самого вечера. Но уснуть не могли, расплакались и рассказали маме. Она нас успокоила и сидела рядом, пока мы не уснули. А утром потребовала от меня, чтобы я забыла о своих прогулках. Я честно обещала, но не всегда исполняла. Сад меня неудержимо притягивал. Так прошло 10 лет. Сад заменил мне подруг и развлечения. С годами я искала и запоминала слова, которые были созвучны моим переживаниям. Весной я твердила некрасовские стихи:

Идет, гудет зеленый шум,  
Зеленый шум, весенний шум.  
Как молоком облитые стоят сады вишневые...

А летом я вспоминала певучие строки Бальмонта:

Взойди на рассвете на склон косогора,  
Над зябкой рекою дымится прохлада.  
Темнеет громада застывшего бора,  
И сердцу так грустно, и сердце не радо.  
Войди на закате, как в свежие волны,  
В прохладную глушь деревенского сада.

Деревья так сумрачно, странно безмолвны,  
И сердцу так грустно, и сердце не радо.  
Как будто душа о желанной просила,  
И сделали ей незаслуженно больно.  
И сердце простило, и сердце забыло,  
Но плачет и плачет, и плачет невольно.

Сад обеспечивал семью фруктами и овощами на весь год, но денег не давал ни копейки. Фрукты стоили очень дешево. Оттого и были так запущены старые сады. Единственным источником, приносящим нам деньги, была крошечная рента. Отец ездил за ней в Одессу два раза в год. Деньги распределялись так, что на счету была каждая копейка. Основательными были заготовки к зиме: покупалась в мешке мука, варили много повидла и слив, вишен, была домашняя колбаса, ветчина, сало. Но купить ботинки, самое дешевое платье было уже трудно.

Отец не мог сидеть зимой сложа руки. Он взялся за сапожное дело. Приобрел инструмент, купил кожу, заготовки и всю зиму шил детские светлые ботиночки и парусиновые туфли. С грудой своего товара вышел он перед Пасхой на базар. Но покупали плохо. Работа была топорная. На моих детских ногах появились первые мозоли. Потом к какому-то большому празднику он начал коптить окорока. Выкопал яму, поставил над ней бочку без дна, на проволоке повисли окорока. Их тоже плохо покупали, и окорока перекочевали на зиму на чердак, мы долго их ели. Появились улыи, но меду было мало. Зимой приходилось подкармливать пчел сахаром. Это было невыгодно. Новая затея отца — сделать мебель для нашего дома. Сначала появилась деревянная кровать для меня. Потом отец приобрел верстак и стал вытачивать ножки, столбики. Был сделан большой грушевый стол с толстыми точеными ножками. Его было трудно сдвинуть с места. Затем черный клеенчатый диван с неудобной прямой спинкой. Вместо валиков по бокам были узорные точеные ручки. Ножки тоже были вычурные. Отец разыскал ореховое бревно, напилил доски, выточил колонки, ножки, отполировал. Это было к трюмо. Он поехал в Одессу за зеркалом и долго его искал, а продавцы удивлялись — ведь раму делают, когда есть стекло, а не наоборот.

Экономя каждый грош, отец, приезжая в Одессу, все же обязательно ходил на толчок, который находился на площади. В нее входят улицы - Тираспольская, Успенская, Базарная. Там стояли деревянные будки и продавалось всякое старье, а на углу улицы Хворостина был огромный двор. Он назывался Дворик. Там в лавках продавали остатки всяких тканей. Отец дарил маме куски старинного кружева, гипюр на блузку. На толчке он приобрел электрический самовар, который так и не смог использовать; странный инструмент — цитру, хотя дома были гитара и скрипка, старый граммофон с набором

очень хороших пластинок. В наш дом пришла классическая музыка: "Евгений Онегин", "Жизнь за царя", "Риголетто", "Дубровский", "Галька" Манюшко, романсы Чайковского, Глинки. Они доставили нам большую радость. Мы слушали их несколько лет подряд и знали наизусть. Как-то отец привез маме очень тяжелый подарок — двенадцать толстых книг в желтом картонном переплете — журнал "Дело" за 1874 год. Когда я была уже взрослой, я узнала ценность этого журнала. Его издавал и редактировал Некрасов. Преследования цензуры заставили Некрасова менять заголовок своего самого прогрессивного журнала XIX века "Современник". Так мы стали вместе с романами читать публицистику. Правда, она была написана 30 лет тому назад, но оставалась острой, полемичной. На страницах журнала были литературные обзоры, путевые очерки. Журнал перечитывался много-много раз, хотя мама усердно приносила книги из общественной библиотеки. Отец читал мало. Ему нравились Чехов, Лесков. Но больше всего он любил, когда мама читала ему вслух. По вечерам он сидел на стуле, положив ногу на ногу, удобно прижавшись к спинке стула, и медленно курил. Я не могла понять, как можно так долго сидеть неподвижно. Теперь я это понимаю.

Зимой мы заканчивали день, собираясь в большой теплой кухне. Я читала Жюль Верна, мама что-нибудь шила, отец играл на скрипке. Он любил вальс "Дунайские волны", часто играл молдавскую "Дойну" и при этом объяснял мне: — Слышишь, как плачет пастух? Он потерял овцу, ищет ее, зовет, но не находит. И вдруг он ее увидел. Она лежит под скалой, у нее сломана ножка. Но пастух рад. Он кладет овцу на плечи, он смеется, поет, бежит по холмам, пляшет.

Я всегда вспоминаю объяснение отца, когда слышу по радио "Дойну". Иногда отец пел. Голос у него был мягкий, глуховатый. Он пел "Выхожу один я на дорогу", потом "Среди долины ровныя" об одиночестве старого дуба, "Ах, ты ветка бедная, ты куда плывешь? Воротись, родимая, в море пропадешь". Но самой любимой была украинская песня, которую пела его мать Ирина Осиповна о том, как сын выгоняет из дому свою мать:

"До мене придуть гості — побратимы,  
А ты, мати, в порваній світинці".

Мать просит оставить ее, она еще нужна внуку, она будет прясть. Но сын неумолим:

"Дитину ты не позабавиш,  
А кожушину збавиш".

Мать покоряется.

"І пішла мати жорстокими степами,  
Залилася гіркими сльозами ".

Ее встречает дочь.

"Та чого же, мамо, ти туто блукаеш.  
Хіба, пене, ты хати не маеш?"

Мать рассказывает дочери о поступке сына:

"Коли б я свою хату мала,  
Я б степом тут не блукала ".

Опечаленная дочь зовет мать к себе:

"Иди, мамо, ти тепер до мене,  
Будет, пене, до віку у мене."

Но у дочери есть муж, и дочь предупреждает:

"Коли буде лиха сила биты,  
Не йди, нене, мене боронити.  
Коли беде лиха сила спати,  
Будем, нене, всю ніч розмовляти ".

Отец кончает петь и дрожащими пальцами вынимает из портсигара папиросу Он вспоминает свою мать и снова казнит себя.

Так-то мы уютно коротали вечера в кухне. А за окном злилась вьюга, шел снег

Вдруг кто-то слабо постучал. За дверью раздался стон. Мы вздрогнули и посторонились. Отец пошел открывать дверь. Передним стоял огромный мужчина без шапки, без сапог, без пиджака. Он пытался что-то сказать и не мог. Отец распахнул дверь и ввел пришельца в комнату. Тот сел на стул и потерял сознание Отец и мама начали растирать его снегом. Когда гость пришел в себя запинаясь, рассказал, что приехал в город из села Плоское с каким-то товаром. Получив деньги, он пошел в трактир погреться. К его столу подсели какие-то молодчики. Больше он ничего не помнит. Очнулся он раздетый, полузамерзший где-то в садах. Он лежал в снегу. С трудом поднялся, стал искать дорогу. Падал, теряя

сознание. Наконец увидел огонек. Это светилось окно нашей кухни. Еле до него дошел. На другой день отец дал знать семье неожиданного гостя. А тот пролежал у нас две недели, заболев воспалением легких. Когда он уходил домой, стал на колени и поклонился в ноги моим родителям

Летом уступая настойчивым приглашениям спасенного, они поехали в село Плоское. Все село сошлось посмотреть на них. Наш гость оказался богатым. Он хотел подарить отцу какую-то золотую вещь, но тот отказался. Хозяева были огорчены, узнав, что их гости непьющие люди.

Жили мы в Тирасполе замкнуто. Близких знакомых было мало. Но зато нас не забывали родственники. Сергиенко переехали в Бессарабию. Нас отделяли только 122 километра, и наши встречи были частыми. Мои сестры увлекались домашним театром. Тина писала стихи. Сестры были старше меня и мне все время приходилось догонять их в чтении и интересах. Мне было 12 лет когда я узнал об их восхищении "Евгением Онегиным". Я сейчас же взяла книгу. Читала очень внимательно, но книга показалась мне скучной и непонятной. Одну зиму с нами жил мамин брат Ваня. Он был очень ласков с нами детьми, и мы его любили. Ваня был моряк. Он задумал жениться и изменить профессию. Но в Тирасполе так ничего путного для себя не нашел. Летом приезжал Илюша. Он закончил Херсонскую учительскую семинарию. Она давала прекрасную подготовку. Между прочим, считалось обязательным для учителей знание музыки. Илюша хорошо играл на скрипке.

Лиде шел 17-й год. Ее посещали друзья - круглолицая девушка Паша, ее жених студент Григорий и юный конторщик Петя Репников. Лиду привлек сладкий тенор, каким Репников пел: "Ой закувала та сиза зозуля". Молодежь вместе с Илюшей каталась на лодке, по вечерам слушали у нас граммофон, вместе с мамой уходили на конец сада, пели "Вы жертвою пали, Дубинушка" "Отречемся от старого мира", говорили крамольные речи. Приближалась революция 1905 года. Поздним вечером возвращались домой. Мама в темноте разыскивала еду. Приглушенно смеялись. Из спальни доносилось недовольное покашливание отца. Вспоминая потом об этом времени, Илюша мне говорил, что это было самое безоблачное лето в его жизни. Он стал учителем в селе Визирка, под Одессой. Женился, переехал в Одессу, у него родилась дочка. И тогда Илюшу арестовали за революционную пропаганду среди крестьян. Он был сослан на два года в Вологодскую губернию. Для всей семьи это было страшным несчастьем. Мама помчалась в Одессу, отнесла в заклад рубиновое кольцо и внесла свою лепту в те деньги, которые Илюше посылали ежемесячно. Ссылка оказалась не страшной. Два года быстро пролетели. Летом к нему поехали жена и мать. Группа ссыльных приняла Илюшу, как родного. Государство ежемесячно выплачивало ему несколько рублей. Но жизнь Илюши была сломлена. Он страстно любил математику, не расставался с книгами по этому вопросу, читал их, как

романы, собирался поступить в университет. Ему запретили. Он также не имел права работать в государственных учреждениях. Несколько лет он существовал частными уроками. Но скоро поступил в контору железнодорожных мастерских, перед войной вступил в партию. Был нелюдим, угрюм, хотя обладал способностью очаровывать людей, когда этого хотел. Ночью, когда дом погружался в сон, под сурдинку он играл на скрипке, любил вполголоса петь "Соловей мой, соловей, пташка малая лесная".

Лиде было 17 лет, а Петру Федоровичу Репникову 19, когда они поженились. Отец в восторг не пришел, но свадьбу устроил шумную. Из Одессы съехалось много гостей. На всю ночь был заказан зал ресторана, музыка и ужин на 100 персон. У Репникова в Тирасполе оказалось много родственников и друзей. Свадьба была зимой. В церковь ехали на санях. На мне было белое шерстяное платье с голубым бантом на плече и белые гамаша. В церкви я несла шлейф подвенечного платья Лиды. Ходила вместе с женихом и невестой вокруг аналоя и очень боялась споткнуться. Лида получила пятьсот рублей приданого и все вещи своей матери. Но молодожены были такими юными и неопытными, что деньги и вещи через два года растаяли, как снег.

Они сначала жили в Раздельной, потом переехали в Одессу. За десять лет у Лиды родилось шестеро детей и четверо из них умерли в младенческом возрасте. Лида часто приезжала к нам с детьми, оставляя их маме. Мы привыкли к ребятам. Папа получал телеграммы то о смерти, то о рождении малыша. Репников часто был без работы. Папа вздыхал, но деньги посылал. Лидины дети ему никогда не мешали. Он горячо любил свою дочку, хотя называл ее осуждающе "Раздай-беда". Она ему платила такой же горячей любовью.

Частым гостем у нас была в те времена Катя. Она закончила прогимназию и акушерские курсы. Всегда со вкусом нарядно одетая, она привозила с собой Новости о надвигающейся революции, новые революционные песни.

1905 год мало задел наш городок. А Катя рассказывала о забастовках, о погромах, о "Потемкине". Отец слушал ее с большим волнением. Конечно, революционные вести шли через Катю от Илюши, так же, как и тоненькие книжки в цветных картонных переплетах издания "Знание". Среди них произведения Горького, Скитальца, Андреева. Мне было 10 лет, когда на вопрос учительницы, что я читаю, назвала "Старуху Изергиль" Горького и "Жили-были" Андреева и вызвала ее удивление.

В большие праздники у нас всегда было много приезжих гостей. Отец, относясь с презрением к попам, очень любил все церковные обряды. С удовольствием ходил святить яблоки, пасхи. Приносил красное яичко к плащанице. К праздникам готовились старательно, заранее: откармливали свинью, птиц, готовили колбасу всех сортов — кровянки, ливерные, жареные окорока, пекли груды пирогов. Отец покупал ведерный

бочонок вина. Наступало самое хорошее время - предпраздничный вечер. Весь дом пахнет чистотой. На столе нарядная скатерть. Белоснежные занавески кажутся прозрачными. Огня долго не зажигают. Комнаты освещены мягким светом лампадок.

Поезд из Одессы приходил на рассвете. Подкатывали дрожки. Это приехали дед, бабулька и Катя. Теперь Трачам жилось неплохо, все дети разошлись, у каждого своя жизнь. Бабушка стала франтить, а старшие дочери осуждающе говорили: "Ведь маме уже за пятьдесят, а ее еще интересует тонкий испанский шарф, бархатная шубка..." На дедушке вещи тоже были добротные, сшитые у хорошего портного. У него был бесплатный билет. Все трое ездили мягким вагоном, вторым классом. Дедушка оставался строгальщиком, но заработок его удовлетворял.

С их приездом дом наполнялся запахом апельсинов, которые привозили гости, и веселым разговором. Женщины рассказывали о жизни других родственников. А папа с бабушкой вели мужские разговоры. О революции, о заработках.

— В этом году я заработал 500 рублей, — горделиво говорит дедушка.

Он начал строить на Фонтане дачу. И прислушивается к знанию и опыту отца. Но поступает по-своему. Отцу не нравится, как будет стоять дом, не нравится широкая веранда: "В комнатах будет темно". Но дед говорит о знойном лете. Я слышу незнакомые слова: "фронтон", "плинтусы", "обаполы". Мужчины что-то вертят на папиросных коробках, обсуждают, сколько времени надо высушивать доски для пола, какой величины будут окна. Дедушка делает окна и двери такими, чтобы можно было дополнить их вторыми: он собирается с бабушкой жить на Фонтане, когда уйдет на пенсию. Но желание его не исполнилось.

На другой день приезжают Репниковы. Они тоже в новых костюмах: купили в рассрочку, на вылат. Теперь дом благоухает духами. За завтраком шумно, весело. Советуются, когда всей гурьбой поедут в Бендеры. Все праздники дедушка свободен. Он приезжает не только на Пасху и Рождество, но обязательно и на Масленицу, и на Покров.

В 1910 году бабушка заболела раком желудка. Мама уехала в Одессу. На похоронах у нее был глубокий обморок. Вернулась домой с белой прядкой волос на левом виске.

Приближалась Пасха. На рассвете мама долго ждала, когда к дому подъедут дрожки. И вместо этого услышала легкий стук. Она подбежала к калитке. На скамейке у ворот сидел дедушка. С вокзала он пришел пешком, все время думая о любимой жене. Увидя маму, он обнял ее и запел:

"Ой казали люди та люди,  
Що мати угості прибуде,

Ждала я, ждала,  
Всю нічку не спала,  
Воротічки не зачиняла..."

Оба плакали.



## 12. Гимназия.

Леде было 5 лет, когда он свободно читал. Я не знала ни одной буквы. Маму стыдили, мне было 6 лет, и мама попросила Илюшу научить меня грамоте. Молодой учитель скоро отказался от занятий, сделав вывод: "На редкость бестолковое дитя". Папа купил для меня маленькую скрипку, но из этого тоже ничего не получилось. Мама к оценке моих способностей отнеслась спокойно. Когда мне исполнилось 7 лет, она взяла меня за руку и привела в народную школу имени Пушкина, которая была от нас в четырех кварталах. Там она упросила заведующую отступить от правил и записать меня. Я сидела за первой партой — белобрысая, бойкая и самая маленькая. Учительнице нравилось, как я передавала содержание книг. С арифметикой мне было трудновато, туго соображала. Мама старалась мне объяснить, и не отпускала до тех пор, пока не убеждалась, что мне все понятно.

На улицах во время дождей была непролазная грязь. Отец приносил меня в школу на руках. А в морозные снежные дни одевал на мои ноги сапожки, которые сам сшил из овчин, и глубокие галоши, крепко завязывал концы капора, брал за руку, и мы храбро шагали в любую вьюгу. Мама сказала, что нельзя пропускать ни одного дня. На Покров в городе была ярмарка, где продавали фрукты, овощи, скот. Для развлечения посетителей были карусель, Цирк, зверинец. Мы с мамой были в зверинце. Она обратила мое внимание на жалкую жизнь зверей, а придя домой, сказала:

— Напиши, что ты видела в зверинце и что чувствовала.

Так я написала свое первое сочинение, и оно очень понравилось учительнице. В народной школе я училась три года. И получила три похвальные грамоты. "Теперь ты будешь учиться в гимназии", — сказала мама. Отец слабо протестовал: правоучение стоило очень дорого — в младших классах 40 рублей, в средних — 60, в седьмом и восьмом классах — 80. Но своей Сашеньке отец не мог ни в чем отказать.

В коридорах гимназии появилась миловидная женщина в гладком платье песочного цвета и небольшой, похожей на тарелочку, синей шляпке. В ее руку судорожно вцепилась белобрысая девчонка в розовом полосатом платье с кружевным воротником. Оказалось, что в тот же час, когда мама принесла прошение, нужно было сдавать экзамен. А поступить в первый класс гимназии было не так просто. В городе была только одна гимназия, а желающих в ней учиться — много. Это были не только дети местной интеллигенции, торговцев, но и дети военных. В городе были расквартированы два полка — пехотный и драгунский.

Первому классу предшествовал подготовительный. Для поступления туда тоже требовался экзамен. Нужно было бегло читать, считать, писать. Все девочки из подготовительного, естественно, переходили в первый класс, и вакантных мест было очень мало. Конкурс был большой. Мама подвела меня к двери класса, ласково оторвала от себя мои руки и сказал: "Иди. Все будет хорошо".

У экзаменационного стола, как всегда, мой страх прошел, вопросы были понятны. Народная школа дала мне прекрасную подготовку. Все три дня, пока шли экзамены, шумели веселые майские грозы, грохотал гром, шел проливной дождь. Потом все это внезапно кончалось, появлялось горячее солнце, быстро высыхали тротуары, остро пахло свежей, промытой зеленью. Мы с мамой счастливые возвращались домой. Я была принята в первый класс.

Осенью у меня была бездна впечатлений. В классе со мной — 39 незнакомых девочек, 11 учителей приходило в класс. Они преподавали русский язык, арифметику, географию, историю, Закон Божий, рисование, рукоделие, пение, гимнастику, французский, немецкий. Изучение иностранных языков было необязательным, а многие девочки изучали только один язык. Мама потребовала, чтобы я изучала два. Часть того, о чем говорили на уроках, было мне уже знакомо, и преподавателям нравились мои толковые ответы. С первых дней я попала в число хороших учениц. Но с немецким языком у меня получилась осечка. Тогда применялся готический шрифт, и я не сразу могла запомнить всякие закорючки. На азбуку старая немка обращала особое внимания. Со второго урока она стала говорить с нами по-немецки и требовала беглого чтения. Какая была подготовка у моих соучениц — не знаю, но я оказалась в хвосте. С приходом в класс Терезы Генриховны на меня наваливалась . какая-то тяжесть. Вот учительница вызывает меня к доске и ставит двойку:

— Девочка, ты отстала от класса. Тебе нужен преподаватель. Когда ты нас догонишь, скажешь мне.

Это было ужасно. Я пришла домой в слезах. Отец растерян, мама не знает, чем мне помочь, ведь это не арифметика. Но ни один из них не предложил мне бросить немецкий язык. Мама насухо вытерла мне глаза, себе тоже и сказала:

— Садись. Будем вдвоем учить азбуку.

Мы просидели с мамой над учебником немецкого языка много часов. Когда я отвечала очередной урок Терезе Генриховне, она похвалила меня и спросила:

— С кем ты занимаешься? У тебя хороший преподаватель.

— С мамой.

— Она знает немецкий язык?

Я ничего не ответила. Но все годы учебы я подсовывала маме учебники французского и немецкого языка и просила:

— Спрашивай меня слова.

Мама читала по-русски, а что я ей отвечала, она, конечно, не понимала. Я знала об этом, но мама для меня была лучшим учителем. Она знала не только, что мне задают и как я выполняю задания, она знала всех моих преподавателей, всех соучениц. Она жила со мной одной жизнью. Никогда не бранила, если я получала тройки. Только лицо у нее становилось печальным, а взгляд укоризненным. И для меня это было мучительнее всяких упреков. Когда у меня были хорошие оценки, она радовалась вместе со мной.

Уроки я не зубрила. Но мне каждый раз хотелось проверить вслух, как я усвоила материал. И в маме я всегда находила внимательную слушательницу. А потом всю жизнь я ей рассказывала вслух то, что хотела запомнить, — когда готовилась к лекциям, выступлениям, когда училась в заочном библиотечном институте и самостоятельно осваивала философию. Я подсаживалась к маме, брала ее руку и говорила:

— Мамочка, слушай.

Мама улыбалась и слушала. Моя речь постепенно становилась выразительнее, и, самое главное, у меня выработалось важное для лектора качество — умение себя слышать. Я замечала пробелы в изложении материала, неудачно построенную фразу, неправильное ударение.

В гимназии шла стройная, хорошо налаженная учебная жизнь. Среди преподавателей были всякие — хорошие и средние. Но все они честно выполняли программу и использовали все методы, чтобы мы лучше усвоили. "Дисциплина" никогда не отвлекала их внимание, класс всегда был подготовлен к спокойным занятиям. По утрам нас всех собирали в актовом зале. Строились в пары, класс за классом входили в зал и занимали свои места. Отдельная группа — хор — стояла в стороне. Там была и я. Дежурная ученица читала молитвы, Евангелие, хор пел. Потом перед нами появлялась начальница гимназии — невысокая, седая строгая женщина в синем платье с большой камеей под самым подбородком.

— Mes dames! — говорила она, хлопая в ладоши.

И зал замирал. Она давала распоряжения на день. Говорила о наших провинностях за день вчерашний. Вызывала вперед тех старших учениц, которые вчера, вместо того чтобы учить уроки, гуляли в глухих аллеях парка с офицерами, стыдила их тут же при всех.

Сообщала, кто вчера расхаживал по городу не в форме, а в цветном нарядном платье, у кого были завиты волосы и сделаны затейливые прически. Если она замечала, что это и сегодня, требовала, чтобы виновницы сейчас же отправились в умывальню и с помощью воды пригладили волосы. Она требовала, чтобы наши форменные платья были определенной длины и ширины, а кружева на белых передниках и перелинках не шире сантиметра. Начальницу считали настоящим тираном. Когда она, маленькая, седая, разъезжала по городу на извозчике, ее боялись не только гимназистки, но и молодые офицеры. В гимназии иногда происходили события, о которых говорили шепотом. Девчонок исключали.

После утренней отповеди мы спокойно расходились по классам. Возбуждение, которое мы приносили с собой утром, утихло. Мы со вниманием слушали урок. На переменах нам позволяли шуметь и кричать сколько угодно. На большом школьном дворе были "гигантские шаги", крокет, мячи, серсо. Выкричавшись, мы потом спокойно сидели на уроках.

Два класса имели одну и ту же прикрепленную воспитательницу, ее называли "классная дама". Уроков она не имела. Все свое внимание она уделяла нам: следила за состоянием дневников, тетрадей, нашей одежды. Она знала о каждом из нас все наизусть. Часто сидела на уроках, следя за ответами учениц, вызывала родителей, проводила с ними беседы. Наша классная дама Александра Алексеевна была сестрой начальницы. Немолодая, крупная, строгая женщина, она сразу обратила на меня внимание и передала моим родителям, чтобы они просили Попечительский совет об освобождении меня от платы за правоучение. С плеч свалилась большая тяжесть, хотя оставалось еще много затрат. Учебники стабильные, переходящие из поколения в поколение, покупались старые и все же стоили дорого. Галоши не дотягивали до конца зимы. Зеленая форма быстро протиралась на локтях, хотя материал покупался из расчета двух нарукавников. На форме делался большой рубец, который постепенно отпускался по мере моего роста. Нужны были тетради для рисования, карандаши. На все это требовались деньги, а их не было.

В младших классах мне очень хотелось иметь легкие летние туфельки с перепонкой, а зимой котиковую шапочку с ушками. Мама знала о моем желании, но исполнить его не могла. Так этих вещей у меня и не появилось.

Завтрак с собой мама всегда мне давала обильный: кусок домашнего белого хлеба, высокое домашнее розовое сало или ветчину, яблоко. Но мне хотелось на большой перемене бежать со всех ног с другими девочками к буфету и покупать там горячую, пушистую, сочащуюся котлету на куске горчичной булки. Но котлета стоила пять копеек. Я могла ее купить только после больших праздников, когда приезжал дедушка и дарил мне серебряные 20 копеек. Более вкусных котлет я больше в жизни не ела.

Начальница гимназии любила готовить с малышами утренники, а с ученицами старших классов концерты. Она садилась за рояль и долго разучивала с нами детские песни. Я участвовала во всех спектаклях, умела хорошо говорить. Костюмы из коленика мне шила гимназия. На Новый год, на Масленицу в гимназии устраивались балы. Полк присылал духовой оркестр, звенели шпоры офицеров. Но я танцевала мало, чувствовала себя неуклюжей в грубых башмаках на низком каблуке. От нашего дома до гимназии надо было идти более получаса. Отец приходил за мной, но часто Александра Алексеевна меня оставляла ночевать. Начальница с сестрами жила в уютном домике из четырех комнат тут же, в школьном дворе. Я спала в одной комнате с начальницей. У ее кровати стояла высокая ширма.

Я была в четвертом классе, когда начальница вызвала меня в кабинет и представила высокому военному человеку. Я сделала низкий реверанс, а начальница сказала, что это командир полка. Его маленькая дочка, пригостишка, была больна. Мне надо будет помочь ей догнать класс. Я была испугана, но Александра Алексеевна меня ободрила и рассказала, как себя вести на уроке.

По утрам отец провожал меня в гимназию. Несколько улиц, пока мы поднимались вверх, я шла в отцовских сапогах, потом на скамейке у чьих-то ворот меняла обувь. Вечером отец не знал, когда я вернусь с урока. В последних классах гимназии летом у меня уже было столько учеников, и девочек и мальчиков, что я освобождалась только к закату солнца.

Я надевала батистовую зеленую форму и белый передник и шла через весь город в общественную библиотеку. Это был мой единственный отдых и развлечение. С Садовой улицы мы тогда перебрались повыше. Новый сад находился далеко, я в нем почти не бывала. Я не видела солнца, на лице не было и тени загара. Когда в воскресные дни я ездила в Бессарабию, молдаванки, глядя на мое лицо, с восхищением говорили: "мрамор". В пятом классе у меня стали часто попадаться тройки. Александра Алексеевна вызвала маму и строго сказала, что по своим способностям я должна заниматься отлично, что мне мешают книги, я слишком много читаю. Мама должна проследить, чтобы в неделю я читала не больше одной книги. О моем увлечении книгами мама, конечно, знала. Она его разделяла со мной. В гимназической библиотеке, которой заведовала Александра Алексеевна, был хороший подбор классической литературы, но и много книг для девочек — Луизы Олькот, Чарской, Лукашевич, Желиховской. Когда наступала суббота, я возвращалась домой со старыми журналами для детей — "Родник", "Детское чтение", я была счастлива. Сад и книги — вот что ждет меня в воскресенье. В журналах меня увлекали рассказы Кипплинга, Сетона-Томпсона, понравилась повесть Джека Лондона "Белый клык". А из общественной библиотеки мама приносила журналы: "Вестник Европы", "Русское богатство", "Русская мысль", легкие романы Вернера с такими

заманчивыми заглавиями: "Тайна старой девы", "Жемчужное ожерелье". Подрастая, я узнавала, какие книги есть в доме моих подруг.

Тогда провинция — попы, чиновники, учителя — выписывала журнал "Нива" альбомного формата, где печатались легковесные рассказы, повести, там часто писал Потапенко. Но кроме этого, редакция посылала подписчикам приложения, значение которых было огромно. В глушь, в деревни, где не было библиотек проникали прекрасные книги. Их-то я и нашла в диванах у своих подруг. Это были полные собрания сочинений Лескова, Чехова, Станюковича, Помяловского, Данилевского, Мельникова-Печерского, Гарина, Шеллера-Михайлова. Был и Кнут Гамсун, и Метерлинк, и Ростан, и Ибсен. Вот тут-то и началось мое плавное чтение. Каждое собрание сочинений я читала от первого до последнего тома. Я научилась понимать, какие темы волновали автора, узнавала его манеру письма, стиль. Научилась читать сложные пьесы Метерлинка, Ибсена. Меня не смущало стихотворное оформление пьес Ростана, его "Сирано де Бержерак" в переводе Щепкиной-Куперник надолго занял мои мысли.

Мне шел пятнадцатый год. А из рук Александры Алексеевны я получила Вальтера Скотта, Диккенса, Гюго. Я прочла все, что написали эти авторы." Много лет спустя, когда я уходила на пенсию, директор областной библиотеки, упрасивал меня остаться еще на один год, говорил:

— Ваш уход осиротит библиотеку, кто еще так знает книжный фонд художественной литературы, как вы!

Он был не совсем прав: так же, как я в детстве, читало все мое поколение. Ведь у нас не было ни кино, ни радио, ни телевизора. Вместе со мной уходила на пенсию целая эпоха. Я читала много, и учеба моя, конечно, пошатнулась. Однажды я получила даже двойку. Учительница французского языка с негодованием вытащила у меня из-под парты книгу "Принц и нищий", которую я читала на уроке. Не скоро я получила ее обратно от Александры Алексеевны. Получила я двойку и по алгебре. Но у меня была уже прочная слава первой ученицы в классе, учителя мне многое прощали, появилась возможность немного лениться.

Как-то меня вызвал к доске учитель истории. Я урока не выучила. Знала, что речь идет о французской революции. Я не растерялась и набросала интересную картину того, что происходило во Франции на основании только что прочитанного романа Гюго "93-й год". Глаза учителя смеялись, но он мне очень строго сказал:

— Гюго вы знаете хорошо, а урок все-таки не учили.

Оценки он мне не поставил. Но Александра Алексеевна, сидя за своим столиком, все слышала, и мне от нее здорово досталось. Она мне все время твердила, что я должна закончить гимназию с золотой медалью.

В седьмой класс к нам поступила новая девочка, она приехала со своей мачехой к неродной тетке. Мура потеряла отца, а ее тетка преподавала в нашей гимназии. У нее бывали наши учителя. Они с большой жалостью относились к Муре и хвалили ее за хорошие ответы.

Я подежурила с Мурой, она мне очень понравилась, хотя по натуре мы были разные. Мура была серьезная, положительная, любила математику.

— У тебя серьезная соперница, — сказала мне Александра Алексеевна. "Забудь книги, тебе надо подтянуться.

Я взялась за учение. Наступили выпускные экзамены. Из Учебного округа приехал инспектор, председатель экзаменационной комиссии. Все с трепетом ждали тему сочинения, ее присылали из округа. Запечатанный конверт вскрывали в классе перед учащимися.

"Чувства добрые поэзии Пушкина", — прочитал наш преподаватель. Пронесся облегченный вздох. "И чувства добрые я лирой пробуждал". Заскрипели перья. Оба сочинения, мое и Мурино, были оценены пятеркой. Их читали члены комиссии. Сочинения были разными, как их авторы. Мура написала ученый трактат с темами и подтемами. В моем сочинении привлекала легкость изложения. "О поэзии нельзя говорить языком математики", — утверждал преподаватель литературы.

Маму очень волновали результаты экзаменов. Она боялась повторения того, что случилось с ней. Дело в том, что золотую медаль могли получить все те ученицы, у которых были соответствующие оценки. Но настоящую, сделанную из золота медаль получала только одна лучшая, остальным только записывали в аттестате. Наша гимназия была казенная, Мариинская. Золотая медаль стоила 35 рублей. Это был подарок от Министерства. По многим причинам ее могла получить Мура. Об этом говорила мне и Александра Алексеевна. Но когда проходило совещание Педагогического совета, не было никаких споров. Семь лет я была в этой гимназии, все преподаватели знали, как я училась, росла. Они помогали мне с первого класса стать человеком.

Когда я пришла домой с медалью, в квартире было тихо, дверь в спальню закрыта: у отца болела голова. Мама меня крепко поцеловала. Через две недели началась Первая мировая война.





### 13. Принчик-корольчик.

Маленький наш сад отец привел в полный порядок, но денег сад по-прежнему не приносил. Приходилось время от времени продавать облигацию, подрывая этим основу существования семьи. Отец ждал неизбежного "черного дня", и его угнетало, что мама останется без средств. Он часто повторял, что она не должна надеяться на помощь детей. Дети всегда живут своей жизнью. У матери должна быть своя крыша над головой и возможность хотя бы самого скромного существования. Отец всю жизнь искал способ обеспечить это. Труда он не боялся.

Кварталом ниже отец купил запущенный сад в три десятины. Деревья росли, окруженные чащей молодняка, землю покрывала густая трава. Вместе с Леней отец взялся за расчистку. Вскоре сад стройностью посадки напоминал шахматную доску. Посреди сада был колодец. Вокруг него на огромном пространстве под деревьями была посажена капуста. Ее огромные голубоватые листья свертывались, как гигантские розы.

В самую жаркую пору там всегда были крупные капли воды. В начале сада под железной крышей стоял дом. Был он какой-то недостроенный: стенки тонкие, маленькие окна, глиняные полы. В доме прятали садовые инструменты, большие круглые корзины для фруктов и овощей. Ничего не пропадало, но часто можно было обнаружить, что в доме кто-то ночевал. Непрошенный гость входил через окно. Это вызывало неприятные чувства. Вокруг было безлюдно. Этот сад я не любила и бывала в нем редко. Четверть сада отец освободил от деревьев и решил там посадить виноград. Он долго изучал прейскурант, выписал из Франции лучшие сорта и вскоре получил хорошо упакованные ящики, заполненные черенками. Шел 1912 год. Весна наступила дружная, ранняя. Надо было спешить с посадкой. Кончалась пасхальная неделя. Мы все были заняты посадкой черенков. С нами был и приехавший Лёдя.

В ночь на 30 марта у меня появился новенький братишка Сергей. Лёдю сейчас же отправили за тетей Орой. Приехав к ней, он хмуро сказал:

— Езжай скорей. Там ждут. Там что-то родилось.

Появление малыша было встречено с радостью, ведь все были взрослые.

Отец сиял: наконец, у него сын.

— Теперь я знаю, кто будет продолжать мое дело. Вот кому я оставлю сад.

Вот с кем ты будешь жить в старости.

Малыш был большеголовый, с редкими светлыми волосами. Он спокойно смотрел голубыми глазами. Мы его прозвали наследным принцем. Потом это имя превратилось в "принчика-корольчика". Каждое его движение вызывало смех и радость. Когда приходило время вечернего купания, все собирались в кухне. Там на теплой плите стояло корыто. Мама вспоминала советы мудрой бабки Олечки и насыщала горячую воду отваром душистых трав — ромашкой, чебрецом, зверобоем, полынью, шалфеем. А "принчик", закутанный в легкую простынку, с удовольствием лежал в такой душистой ванне и посапывал. Затем отец вынимал его из воды, клал на ладонь, спинкой вверх. Мама набрасывала сухую простыню и крепко прижимала к себе свое сокровище. Тщательно высушив ребенка, она укладывала его на большую подушку и, снова следуя указаниям бабки Олечки, начинала с ним игру, которая очень нравилась "корольчику". Мама сгибала ручки и ножки и соединяла на мгновение правое колено с левым локотком и наоборот, а сама издавала какое-то продолжительное причмокивание. Малыш кряхтел от удовольствия. Потом веки его тяжелели, и он крепко спал до самого утра, никого не беспокоя. Ему было два месяца, когда он вдруг заболел. Мама помчалась с ним к врачу, а тот, качая головой, сказал:

— Как жаль. Такой хороший мальчишка и умирает. Быстрее несите его домой.

С рыданием мама пришла домой. Дом погрузился в горе. Отец не знал, чем маму утешить. Она сидела над кроваткой и ждала предсказанного конца. И вдруг отец ей сказал:

— Смотри, как спокойно спит дитя. И температуры нет.

Мама прикоснулась губами к лобу. Так она безошибочно определяла температуру. Лобик был теплый. Утром малыш проснулся здоровым.

Когда ему был год, мы перебрались в новый дом. У отца не было сил обрабатывать два сада, и он продал дом на Садовой, а двумя улицами выше, на Клинцевской, купил большой крепкий поповский дом, с огромными, плотно закрывающимися воротами и широким пустынным двором. Нам жаль было расставаться со своим маленьким домиком и особенно с любимым садом. Теперь от сада мы будем уже далеко.

Перебрались мы в солнечный весенний день. Мне поручили нести самую большую драгоценность дома — Сережу. Он был в красном батистовом платьице и высоких, вязанных из шерсти, красных башмаках. По дороге мы умудрились один потерять.

У принца рано обнаружилась настойчивость. В два года он наотрез отказался от платьев, крича: "Это Липино!". Потом наступила очередь воротников и бантов. Он скучал по товарищам, он хотел бегать по улице. Тогда калитка наглухо закрывалась, мальчуган карабкался к задвижке и изо всех сил кричал:

— Мне здесь душно. Я задыхаюсь.

К нему приходил мальчик Макся, они дружили. Сережа храбро его защищал, если кто-нибудь говорил, что Макся проказливый. Как-то была в спорота обшивка большой корзинки с яблоками. Сережа не мог этого сделать: яблоки заполняли доверху маленькую комнату в конце дома, их ссыпали через окно. Конечно, это сделал Макся. Но Сережа плакал до хрипоты, доказывая, что это сделал он. Мы все были возмущены такой ложью, и каждый из нас тряс Сережу за плечи, требуя сознаться во лжи. Так ничего и не добились. Утомленный, он уснул.

Приезжала Лида и привозила с собой Колю. Племянник был моложе дядьки на 8 месяцев. У Коли была забавная рожица. На лбу челка, а длинные прямые волосы спускались ниже плеч. Иногда Коля гостил у нас довольно долго. Сережа к нему привыкал, а когда Коля уезжал, Сережа несколько дней плакал, приговаривая:

— Был такой хорошенький мальчик, а они взяли и увезли его.

Сереже было лет пять, а Коле четыре, когда они забрались в спальню, сняли со стены папино ружье, положили на кровать и выстрелили. Пуля перебила перекладину кровати и застряла в стене. Мама была в кухне, когда раздался выстрел. Она вбежала в спальню. Там было темно от дыма. Оба охотника стояли бледные от страха, увидев маму, они начали истерически хохотать. Мама еле привела их в себя. Конечно, зачинщиком был Сережа, на этот раз мы не сомневались. Через год он повторил свой опыт с выстрелом, но уж в Одессе. Также положил ружье на кровать. Был вечер. Каждый из нас был занят своим делом. И вдруг все вскочили от испуга. На кровати дымилось ружье. На этот раз пуля застряла в подушках. Конечно, следовало бы виновника отшлепать. Но мы его только трясли за плечи. Последний раз я трясла Сережу, когда ему было лет четырнадцать. Он спокойно взял меня за руки, крепко сжал и сказал:

— Довольно, сестричка.

Больше я этого не делала. Когда к нам приходили мои подруги-школьницы, маленький Сережа с увлечением рассказывал, как он спасся от напавшего на него волка.

— Он прекрасно врет. Это будущий филолог, — говорили подруги.

— Нет, он будет садоводом, — возражал папа.

— Я буду довольна, если он будет просто хорошим человеком, — говорила мама.

## 14. Выбор пути.

После окончания седьмого класса половина моих соучениц разъехалась. Другая половина вместе со мной перешла в восьмой класс. Он назывался дополнительным и давал право преподавать выбранный предмет. Я выбрала русский язык и математику. В этом классе большое внимание уделяли изучению не только выбранных предметов, но и педагогике, дидактике, психологии. Нас прикрепляли на весь год к определенному классу, затем мы посещали уроки преподавателей с последующим анализом, проводили практическую работу — сами давали уроки, после которых преподаватели разбирали по косточкам каждое наше слово, каждое движение.

Я готовилась к педагогической деятельности. Другого пути я для себя не видела. Учиться дальше не было средств. Когда я была в шестом классе, к нам на юг из Москвы с семьей приехал преподаватель литературы. У него был туберкулез. Желая ближе узнать своих учениц, он дал нам тему для домашнего сочинения "Моя любимая книга". Я написала о романе Достоевского "Братья Карамазовы". Конечно, я не понимала философского смысла этого произведения, мое сочинение было детски наивным, но оно подкупало своей искренностью. Я писала о чистоте образов Алеши, Грушеньки, старца Зосимы. Возвращая наши работы, Никанор Андреевич внимательно посмотрел на меня. Я вошла в число его любимцев, как говорили в классе. Но он был суров и требователен. Помню свое изумление, когда на одной из своих работ я увидела пометку: "Сочинение — 5, орфография — 2".

А я пропустила всего одну букву и несколько запятых.

— Вы не имеете права писать безграмотно, — пояснил мне учитель.

Я ловила каждое его слово. Мне нравился не только он сам, но и все, что его окружало, — его квартира, ребенок, жена. Нравилось, что он называет ее "Оль-Оль".

Три года Никанор Андреевич был моим руководителем. Я прочитала много книг о литературе, когда была в восьмом классе.

А рядом, совсем близко — под Львовом, под Перемышлем, шли бои. Наш городок изменился. Ушли на фронт регулярные полки. Часто на фронт уходили поезда с мобилизованными, их с плачем провожали родные. Взамен теплушки привозили раненых. Под лазарет было взято здание гимназии. Мы занимались во второй смене в реальном училище. Все свободные минуты из холста готовили корпию. Посылали солдатам на фронт ящики с подарками — табак, папиросы, сладости, шерстяные носки, перчатки. В

ящики вкладывали письма и получали ответы, написанные корявым почерком. В дворянском клубе организовывались благотворительные концерты в пользу раненых.

Война давила нас, как огромная глыба, и не верилось, что еще так недавно у нас не было этой тяжести и мы не ценили свою спокойную жизнь. Все страстно хотели вернуться к этим временам.

А жизнь, учеба шли своим чередом. Вот и окончательно закончена гимназия. Я взяла от нее все, что она могла дать. Осенью я буду учительницей. Я подала прошение в Земскую управу о предоставлении мне места в одной из школ и, как обычно летом, загрузила себя уроками.

Лёдя, закончив реальное училище, уехал в Одессу, в Сергиевское артиллерийское училище. Все равно его должны были через год мобилизовать.

За лето я заработала 120 рублей и в конце августа поехала в Одессу купить себе одежду. Кроме форменного платья, у меня ничего не было. Мы с Катей покупали в лучших магазинах. Война подняла цены, и все же я купила на свои деньги решительно все: прекрасное драповое пальто на атласной подкладке, первую шляпу пушистую, велюровую, два шерстяных платья, штуку бельевого материала, легкие, изящные полуботинки и всякую мелочь — вплоть до сумочки, перчаток, духов. Когда я вернулась домой, мне Александра Алексеевна сказала, что Никанор Андреевич был в Земстве и узнал, где дали мне работу. Оказывается, в самом конце района на одиноком хуторе, где один учитель объединял все классы. Никанор Андреевич возмутился:

— Это моя лучшая ученица.

— Вот потому-то мы и дали такое назначение, что она лучшая. Другая там не справится.

— Мы с ним решили, — рассказывала дальше Александра Алексеевна, — что ты никуда не поедешь. Это настоящий медвежий угол. Не спеши, какая-нибудь работа еще найдется.

Через неделю меня пригласила к себе Оль-Оль. Она купила прогимназию, которая состояла из четырех классов, и предложила преподавать в ней русский язык.

— А платить я вам буду 25 рублей. Вы получали бы столько на селе.

Я была в восторге: я оставалась дома, никуда не уезжала от семьи. А работать предстоит под руководством людей, которые были для меня образцом.

Теперь каждый день я была занята четыре часа в гимназии. А дома начиналась проверка тетрадок и подготовка к урокам. Моими коллегами были мои вчерашние учителя. Многие говорили мне "ты". Я по-прежнему чувствовала себя ученицей. Мне казалось, что я

перешла еще в один класс. Оль-Оль часто бывала у меня на уроках и оставалась довольна. А мне было не по себе. Где же моя взрослая жизнь? Сверстниц у меня не было. На переменах я уходила из учительской — меня смущали педагоги. И это то, к чему я стремилась?! Было тоскливо. Я выписывала дрянной по содержанию, но очень хороший по оформлению журнал "Пробуждение". Он снабжал подписчиков интересными красочными гравюрами. Одна из них называлась "Сельская учительница". Художника не помню, но картина запечатлелась на всю жизнь. На ней был изображен тонущий в полумраке пустой класс. А на переднем плане у пылающей печки сидела, склонившись, седая женщина с платком на плечах. Тут же, присев на корточки, в печку подкладывал дрова старый Школьный сторож. Вот моя судьба. Вот что меня ждет, если я уеду из города!

Как-то Александра Алексеевна спросила, сколько я получаю за работу. Узнав сумму, она вознегодовала:

– Что это за ставка? Откуда ее взяла Оль-Оль? Ведь ты не на селе, а в городе. Так мало здесь никто не получает, даже в народной школе. Мы, преподаватели, получаем 50-60 рублей. Допустим, у тебя нет стажа, но она могла бы платить тебе рублей 40-45. Ведь учеба в прогимназии очень дорогая, гораздо выше, чем в гимназии. Деньги есть. Твоя любимая Оль-Оль тебя просто эксплуатирует. Воспользовалась твоей неопытностью.

– Ну а он, Никанор Андреевич, знает об этом?

– Не вини его. Ты же видишь, что он умирает и знает об этом. Кроме того, он слишком любит свою Оль-Оль и все ей прощает. А она очень властная

Я была потрясена. Дело было не в деньгах. И это были люди, на которых я хотела быть похожей? Зима превратилась для меня в пытку. Я замкнулась, старалась уйти из учительской, не разговаривать. Александра Алексеевна видела мое состояние:

– Ты должна учиться дальше, ехать в Одессу. Не бойся трудностей. Все студенты так живут. Давай подсчитаем, сколько ты должна тратить в неделю. Видишь если у тебя будет два урока по 10 рублей, ты проживешь. А летом будешь приезжать домой и зарабатывать на нравоучение. Сейчас копи к осени деньги.

Я ее послушалась. Свое жалованье я относил в сберегательную кассу, но неизменно покупала Сереже игрушки. У него их было очень мало, как всегда, не было денег. Но куда же мне пойти учиться? Все факультеты университета, высших курсов вели к преподавательской деятельности. А я ее не хотела. Есть ли технические высшие учебные заведения - я не знала. Да и не было у меня никаких технических наклонностей, и женщин в такие вузы не принимали. Оставался только один факультет — медицинский.

Маме хотелось, чтобы я была детским врачом.

– Это такая благородная профессия.

А я хотела одного: в корне изменить свою жизнь. В прогимназию часто приходил в конце дня Никанор Андреевич, чтобы возвращаться домой вместе с женой. Я задерживалась в пустой учительской, заполняя журналы. Он сидел не раздеваясь, опершись на палочку. Когда я потом смотрела фильм "Дама с собачкой", сердце у меня замерло. Внешний облик героя напомнил мне моего любимого учителя - пальто, меховая шапка, высокие галоши, палочка, борода клинышком.

Никанор Андреевич покашливал и глухо говорил о тупике, в который зашла Россия о бессмысленности и жестокости войны, о беспросветной жизни провинции. Говорил он желчно, раздраженно. Я его слушала с тоской. Внезапно он меня спросил:

– Отчего вы теперь такая хмурая, молчаливая? В вашем возрасте это неестественно. Вы должны сиять.

– Осенью я уезжаю учиться.

– Конечно, на филологический? - оживился Никанор Андреевич.

– Нет, на медицинский, — с вызовом ответила я. Но он моего вызова не заметил и искренно огорчился:

— Почему на медицинский? Это не ваш факультет. Вы делаете ошибку. Потом трудно будет ее исправить. Вы должны переменить свое решение.

А я в это время думала о том, что не хочу сидеть в одиночестве у горячей печки, не хочу эксплуатировать молодых учительниц, не хочу болеть чахоткой.

Осенью мы с Липой уехали в Одессу. На поезд попасть было трудно, железная дорога была загружена военными поездами. Мы добирались по Днестру маленьким пароходиком. С нами была Юля, она тоже начинала новую жизнь: поступала на курсы сестер милосердия при Стурдзовской больнице на улице Белинского. Пароходик шел не спеша, садился на мели. Мы плыли вдоль зеленых берегов. Был конец августа, над водой склонялись ветки, отягощенные крупной золотистой айвой. Только к концу дня мы прибыли в Маяки. Я глянула на городок, о котором любили рассказывать мне родители, увидела низенькие домишки. Надо было спешить, наступал вечер. Мы уложили свои сундучки на подводку. Впереди у нас была новая жизнь. Какой-то она будет?





## Часть II. НА ПЕРЕЛОМЕ.

### 1. Революция.

Я росла в теплой обстановке семьи и школы. В Одессе, попав в водоворот новых условий, я во многих вопросах обнаружила свою беспомощность: не умела сосредоточиться, не умела самостоятельно работать над книгой и, самое главное, не умела управлять своим временем. Плыла, куда меня несло течением. Единственное, что я умела, — это жадно, как губка, впитывать в себя новые впечатления. Если бы в этом была надобность, я могла бы безостановочно говорить и о странном особняке с лесенками, подвалами, пристройками, круглыми комнатами, в которых помещались Высшие женские медицинские курсы, и об огромных, напоминающих греческие амфитеатры, аудиториях на Ольгиевской, где мы вместе со студентами слушали большинство лекций, и об остром запахе формалина, который встречал нас в анатомке, где мы изучали человеческие кости. Но больше всего я могла бы говорить о профессорах: я знала тембр голоса каждого из них, манеру начинать лекции.

Вот похожий на Чехова, профессор Медведев снимает пенсне и тщательно его протирает, профессор Третьяков еще в коридоре начинает говорить, изящный профессор Гриневецкий легко всходит на кафедру и несколько секунд молчит, ожидая, когда аудитория затихнет.

Мне казалось, что я все время нахожусь в театре. Так же, как там, я шла по лесенке вверх, находила среди полукружных скамей свое место. Теперь можно сесть, удобно опершись на локти, и... смотреть, смотреть, не отрываясь.

В эту зиму последний раз в жизни читает свой курс анатомии профессор Батуев. Он смертельно болен, у него лейкемия — болезнь крови. Его красивое лицо, окаймленное белой бородкой, желтое, как воск. В белом халате, тяжело опираясь на руки сына и дочери — студентов-медиков, он медленно входит в аудиторию. Она до отказа заполнена студентами всех курсов. Профессора любят, знают, что он живет сейчас только тем творческим возбуждением, которое ему дают лекции. Батуев опирается на кафедру и неожиданно молодеет. Голос у него становится все более звонким. Легкой походкой он подходит к доске, цветными мелками быстро, уверенно набрасывает контуры человеческого тела и увлеченно говорит о его строении. Речь его тоже необычна, он произносит "мышца", "катАстрофа".

На младших курсах мы изучали естественные науки: физиологию, анатомию, гистологию, физику, ботанику, три химии. Науки точные, здесь общими фразами не отделаешься, тут

надо знать уйму латинских названий, сложные формулы. А все это скользит мимо моей головы и в ней не застревает.

Надо дома учить, зубрить. Но на это не остается времени. Лекций много, каждый день 6-8 часов, потом практические занятия. Мы, перебегая улицы, мчимся то на Ольгиевскую, то в Валиховский переулок. Ежедневно я на 2 часа ухожу да Пушкинскую, там у меня урок. Я получаю за него 10 рублей. А живем мы с Липой далеко — на Воронцовке, в квартире родственницы, которая на несколько месяцев уехала к мужу. Учебников у нас нет, нужно ходить в читальный зал или одалживать у сокурсниц на несколько вечеров. А вечером мы усталые и сонные. Нас часто навещает Лёдя. Он скоро заканчивает артиллерийское училище, а дальше фронт. Лёдя приносит нам кусок пирога или печенье, которое он припрятал от своего обеда. Из продажи исчез белый хлеб.

Лида тоже живет в артиллерийском училище. Уже три года ее муж работает там библиотекарем. У него хорошие условия работы и жизни: приличный оклад, награды в размере месячного жалованья два раза в год — на Рождество и к Пасхе, бесплатное освещение и отопление, очень хорошая квартира на третьем этаже нового здания — две огромные комнаты с большими круглыми железными печами и колоссальными окнами, которые смотрят в сторону кладбища. В этом здании коридорная система: здесь живут вольнонаемные — вахтеры, кучера, прачки. Это народ, который отделен от офицерских семей непроходимой стеной. И хотя нет никаких заборов, он называется "черным", и юнкерам запрещают там бывать. Им внушают, что они, будущие офицеры, должны беречь честь своего мундира, в театре брать билеты не дальше десятого ряда.

Лёдя рассказывает об этом с возмущением, говорит, что война внесла в офицерскую среду большую прослойку мещан, "голубая кровь" и "белая кость" теряют свое значение. Он рассказывает о преподавателях, среди которых есть прекрасные специалисты и хорошие люди, но есть и такие, которых юнкера ненавидят.

Капитан Гавликовский преподает верховую езду. Среди юнкеров много таких, которые и не подходили никогда к лошади. За короткий срок надо научиться хорошо ездить. Но Гавликовский промахов не прощал.

— Сидишь, как богородица! — кричал он и хлопал нагайкой, которая всегда была у него в руках, не только по крупу лошади, но и по плечам юнкера. Надо было молчать.

Наступила зимняя сессия. Впервые я, боясь экзаменов, сдаю химию. Отчетливо помнила, как перед лекцией входила в аудиторию ассистентка-краса -. лица Ванда Пекарская с целым набором химических препаратов, но какими свойствами обладает тот или иной газ и какая у него формула — представляла смутно. Маленький старый караим профессор Танатар с сильным нерусским акцентом раздраженно мне сказал:

— Я тебе ставлю тройку, хотя ты ничего не понимаешь. Для тебя молекула и атом это одно и то же. Пойми же, пойми, что курица и петух это не одно и то же.

— Пожалуй, одно, — думала я в то время, — это птица.

После четырех месяцев учебы мы возвращались на зимние каникулы домой. Железная дорога была забита военными поездами. Нам дали студенческий вагон от Одессы до Кишинева. Ехали всю ночь, вагон каждый раз откатывали от состава. В вагоне — студенты всех факультетов. Было тесно, шумно, весело.

Дома мне надо было обо всем рассказать и узнать, как жили без меня. Оказывается, было тоскливо и пусто. Один Сережа заполнял жизнь. Отец чувствовал себя очень плохо. Большой сад высосал из него последние силы.

Чехов в рассказе "Черный монах" пишет, каким проклятием может быть работа в саду. Отцу она стала не под силу. С виноградом он проиграл, не учел, что почва здесь для него не годится — жирная, черноземная. Кусты выросли высокие, пышные, а гроздей мало. Когда не было урожая, продавать было нечего, когда фруктов было много, их никто не покупал. Урожай надо было оберегать. В начале мая, когда деревья цвели, всегда были заморозки. Тогда начинали раскладывать костры и дымом обогревали деревья. Затем шла борьба с червями. Отец обмазывал каждое дерево каким-то составом, неделями носил на спине тяжелый бак с раствором медного купороса и опрыскивал деревья. Деревья требовалось подстригать, окапывать. Вдвоем с Лёней отец не справлялся, надо было нанимать рабочих. Весной на базаре всегда собирались молдаване, предлагая свои услуги. В те дни, когда у нас были рабочие, мама старалась приготовить обильный завтрак и обед из двух блюд. Но рабочие вели себя странно. Они садились далеко от стола на самый краешек стула, нерешительно брали хлеб, деликатно ели. Выпив чай, переворачивали стакан вверх дном и клали на него оставшийся кусочек сахара. Работали плохо. Если отец был рядом с ними, работа шла спорно, но стоило ему отойти, и рабочие уже отдыхали, вели разговоры, опершись на лопаты. Наша соседка по саду, умная кацапка, хохотала, когда отец ей жаловался.

— Все потому, что вы паны, хотя это название вам и не нравится. Разве так надо обращаться с рабочими? Вам плохо, им тоже. Вы их ведете в дом завтракать и обедать, как гостей. Они стесняются и не едят. Посмотрите, как я их кормлю. Утром принесу много хлеба, редьки, цибули. Едят тут же на траве, как привыкли, без всяких чаев. А на обед варю картошку, кулеш. И сама сяду с ними. А плохо работают, ругну как следует.

Иногда весной приезжали из Одессы евреи и закупали урожай, когда деревья еще цвели. Давали за него смехотворно малую цену. Но зато в течение лета не было никаких хлопот. И все же отцу было обидно отдавать свой труд за бесценнок. Он не соглашался на такую

продажу. Чаще всего урожай был обильным. Приходилось нагружать пятипудовые корзины. Мама с отцом надрывались, поднимая их на площадку. Отец вез на базар, вставая на рассвете. А уже жарким днем, еле живой от усталости и раздражения, привозил корзинки обратно. Ни фруктов, ни овощей не покупали. От тяжелой работы у отца сделалась грыжа. Мы стали думать о продаже сада и возвращении в Одессу.

Во время каникул я побывала у Александры Алексеевны. Никанор Андреевич уже не выходил из дому. Я хотела его навестить.

— Не надо, не ходи, - остановила меня Александра Алексеевна - Он не хочет никого видеть.

Быстро пролетели каникулы. Накануне отъезда я пошла в сберегательную кассу и взяла 100 рублей, чтобы заплатить за второе полугодие. Но вечером, укладывая вещи, обнаружила, что денег нет. Я расплакалась, они мне достались с таким трудом. Мама меня утешала, отец обещал дать свои. Но я хорошо знала цену отцовских денег. Так в слезах я и уснула. А утром мама дала мне сторублевую бумажку и сказала, что вечером нашла ее в кармане Сережиных штанишек. Она мне напомнила, что вчера он весь вечер кричал: "Кому билеты на поезд? Продается билет". Но на него никто не обратил внимания. Я маме не поверила, решила, что это просто выдумка ее и папы. Я вызвала виновника и начала допрос:

— Что ты вчера продавал?

— Билеты на поезд.

— Сколько у тебя было билетов?

— Один.

— Где ты его взял?

— Валялся на полу.

— Какой он был — большой или маленький?

— Большой.

— Можешь его узнать?

Сережа безошибочно указал на сторублевку.

Во втором полугодии мы с Липой решили старательно заниматься. Много времени проводили в анатомке, готовились к зачету: мышцы и нервы конечности. Нам дали руку, и мы прекрасно ее препарировали, отделили кожу и клетчатку. Работали у печки, рука

подсохла, каждая мышца четко выделялась. Чтобы закрепить знания, принесли руку домой. Но Юля, у которой мы теперь жили, неожиданно ее обнаружила и страшно возмутилась. Утром мы отнесли руку в анатомку.

Но скоро усердию нашему пришел конец, было не до учения, шел семнадцатый год.

Ползли и ширились слухи о Распутине, о неполадках на фронтах, о волнениях в столице. Революцию ждали, и все же она была ошеломляющей. Каждый день совершались события, которые мы не успевали освоить. 18 апреля По-старому стилю Одесса праздновала первую легальную маевку. День был солнечный, знойный. С раннего утра до поздней ночи город ликовал. Гремела музыка, песни. По улицам с красными флагами, цветами, бантами шли бесконечные колонны. Многие плакали от радости, обнимая и целуя совершенно незнакомых людей.

Потом наступило непонятное для нас отрезвление. В мае приезжал Керенский. Его встречали с любопытством, но без восхищения. Вместе с толпой мы тоже бежали по Воронцовскому переулку, стараясь рассмотреть сидящего в автомобиле угрюмого человека во френче и темных перчатках. Голова его была обнажена. Подле Вороновского дворца он стоял на грузовике и что-то говорил. Мы не могли разобрать ни одного слова. Теперь мы возвращались домой только по Преображенской улице, чтобы задержаться на Соборной площади. А там почти на каждой скамье стоял оратор. Его окружала толпа. Оратор говорил о программе своей партии и старался очернить другие. А партий, оказывается, есть много: эсеры, эсдеки, кадеты. И каждый защищает свою точку зрения. Сначала мы, переходя от одного оратора к другому, пытались что-то понять. Но пришли к выводу, что это бесполезно, так как все для нас было одинаково ново и одинаково непонятно.

В университете нам ничего не говорили, ничего не объясняли, а старались, чтобы учение не прерывалось. Но нам не хотелось быть только зрителями, мы хотели "строить новый мир". Если бы нас кто-то позвал, мы пошли бы на край света. Но нас никто не звал. Тогда мы решили, что нам надо быть готовыми к зову и неожиданно даже для самих себя поступили на краткосрочные курсы сестер милосердия, хотя уже наступили летние каникулы, и нам нужно было ехать домой. Для чего нам нужны были эти курсы — неизвестно, но мы хотели какой-то деятельности. Курсы мы закончили, сшили сестринские серые платья, приобрели белые батистовые косынки, снялись на фотокарточках для свидетельства и, не зная что дальше делать, собрались уезжать домой.

Приехал с фронта в отпуск Лёдя. Он был без погон и очень растерян. На фронте солдаты жестоко расправлялись с офицерами. Главарями были большевики. Хотя Лёдя говорил,

что в основном гибнут такие офицеры, как Гав-ликовский, но он в равной мере боялся и солдат, и офицеров. Он также ничего не понимал, как и мы.

Кто же такие большевики? Это слово мы слышали уже не раз. Брат Лидинога мужа со следами оспы на лице говорил, что он большевик. Он работал на заводе. Лида не любила его за грубость и резкость. И это чувство переносила на всех большевиков. Когда я летом навестила Александру Алексеevну, она мне огорченно говорила:

— Все шло так хорошо: нет царя, избрали Временное правительство, был Керенский, начиналась новая жизнь. И вдруг эти большевики устроили переворот в Петрограде. Что теперь будет дальше? Ведь большевики невежественные, жестокие люди.

Осенью студенчество вызвало на общественный суд профессора гистологии Маньковского. Он работал в охранке. В самой большой аудитории на Ольгиевской собрались сотни студентов. Профессор Маньковский с плоским серым лицом и оловянными глазами пытался оправдываться, но студенты гневно бросали ему в лицо одно обвинение за другим, они говорили о фактах его, предательства, зачитывали документы. Было страшно. Больше Маньковского мы не видели. Исчезла и его дочка, которая была с нами на одном курсе. Теперь мы поселились у Лиды в Артиллерийском училище. Отсюда до Ольгиевской было очень далеко. Мы уходили с утра и возвращались к вечеру. Мы уже не пытались найти свое место в революции, жить становилось все страшнее. Споры и разговоры перешли в вооруженную борьбу.

Появились гайдамаки в ярких, театральных костюмах. Улицы прорезали пули. Порой, стараясь их избежать, мы часами простаивали в подворотнях или прятались за афишными столбами. Целую неделю шла ожесточенная пулеметная перестрелка между четвертой станцией, где в Кадетском корпусе были большевики, и вокзалом, где засели гайдамаки. А Артиллерийское училище находилось посередине. Оттуда сбежало все титулованное начальство, остались рядовые военные преподаватели с семьями, вольнонаемные и небольшая группа юнкеров, которые, по-видимому, как Лёдя, не знали, куда идти и что делать.

Перестрелка усиливалась к ночи, пролетали снаряды. В Артиллерийском женщины и дети проводили не только ночи, но и дни в хороших, теплых подвалах парового отопления, а мужчины заперли все ворота и организовали дежурство.

Мне надоело сидеть в подвале, и я поднялась в квартиру, хотя Лида истерически кричала мне:

— Вернись! Что я скажу маме?!

Я закрыла огромные окна одеялами, зажгла свет и, лежа на кровати, читала романы Уильяма Локка, которые нашла в библиотеке Училища у Петра Федоровича.

Большевики победили. Сначала исчезли гайдамаки, потом откатились белые, и их гнали все дальше и дальше. Белые ушли в Бессарабию, и границей фронта стал Днестр. Война шла сейчас в прибрежных селениях и городах, в том числе и в Тирасполе.

Отец еще летом продал и сад, и дом с условием жить в нем до того времени, когда будет возможность перевезти вещи в Одессу. В это лето он уже не работал, но все время чувствовал большую усталость. Его снова стала пугать мысль о смерти и о маминой беспомощности. Семье надо не разлучаться, быть вместе. В Тирасполь я не вернусь, значит, нужно ехать ко мне, быть со мной. Отцу очень хотелось купить домик с маленьким садом на Ближних мельницах. Но он послушал меня, глупую девчонку, которая заявила, что Мельницы находятся далеко от города, от университета, будто я там собиралась учиться вечно.

Был куплен дом на Слободке. Конечно, опять трущоба. Но отца привлек тихий переулок, заканчивающийся маленькой церковью, расположение дома, -(он был на углу) и то, что в доме была наружная дверь, а под ступеньками, Ниже, подвал. Здесь было какое-то торговое помещение. Отец решил открыть Дровяной склад. Можно уже было переезжать. Но сейчас и думать нечего о Железной дороге. С фронта возвращались солдаты. Они висели гроздьями на Подножках вагонов, как и в городе на трамваях.

А когда началась война большевиков с белыми и наша семья очутилась Прижатой к линии фронта, дальнейшая жизнь в Тирасполе стала нелепой и страшной. Помочь нельзя было ничем. Лида непрерывно плакала. Письма от мамы приходили редко. Она писала, что отец перевез ее с Сережей на хутор. Но через неделю она вернулась домой, все время волновалась об отце.

Был февраль 1918 года. Теперь мы с Липой часами сидели в анатомке. На днях мы должны были сдавать экзамен. Профессор пинцетом приподнимал любую мышцу, любой нерв отпрепарированного нашей группой трупа, и нужно было не только назвать нерв, но и указать его разветвления и рассказать, какими мышцами он управляет. Мы тщательно готовились к трудному экзамену.

В Артиллерийском уже давно большевики организовали курсы для подготовки комсостава, ведь здесь были отличные специалисты-преподаватели. По вечерам, когда мы возвращались домой, Лида и Петя рассказывали нам новости дня. Комиссаром курсов назначен матрос военного судна "Алмаз". В эти месяцы хозяевами города стали матросы-большевики. На груди у них перекрещивались пулеметные ленты, в руках граната. А о судне "Алмаз" город пел песенку:

"Эх яблочко, куда котишься, Попадешь на "Алмаз", Не воротишься".

На "Алмаз" отправляли белых офицеров и там их допрашивали. Сейчас больше всех трепетали офицерские жены, они боялись за мужей. От нового комиссара можно было ждать любой грубости, любой жестокости.

Но комиссар Григорий Лукин оказался не таким. Он не сказал никому грубого слова. Любил появляться неожиданно, во все вникал. Потребовал учебный план, долго его изучал. На педагогических совещаниях прислушивался к голосу специалистов, возражал редко, но веско. Дамы осмелели, стали обращаться с просьбами по вопросам быта. Лукин вежливо выслушивал и старался выполнять: начала работать бесперебойно местная электростанция, паровое отопление, кооперативная продуктовая лавка. Дамы стали немножко кокетничать с Лукиным, приглашать на пирог, на чай. Он нигде не бывал. Все это нам рассказывал понемногу Петя. Но нас это мало интересовало, были свои заботы. И вдруг Петя сообщает вечером интересную новость: Училище отправляет через два дня на фронт в Тирасполь две теплушки солдатских ботинок. Едет охрана из нескольких человек. Петя попросил включить его в их число, он побывает у наших, узнает об их судьбе.

— Если бы ты была мальчишкой, — говорит он мне, — могла бы поехать со мной.

— Но ведь можно переодеться, — вспоминаю я свою детскую игру в мальчика Мишу.

Моя затея Пете понравилась, но вызвала горячий протест Лиды — опасно.

— Надо попросить комиссара, — обещает мне Петя.

На другой день он сообщает, что Лукин отнесся очень сочувственно к моей просьбе и дал приказ выдать Пете из цейхауза самое маленькое солдатское обмундирование. Экзамен откатился от меня. Я о нем уже забыла. Лида хмурится.

Утром в день отъезда начинается переодевание, мне помогают Лида и Липа. Какой же неуклюжий получился красноармеец в высокой серой шапке из искусственного меха с красной звездочкой. За спиной у меня ружье.

— Как же тебя называть? — сказал Петя, — Нужно мужское имя.

— Миша.

— Я могу забыть. Надо попроще. Я буду тебя называть Ваней. Февральский день солнечный и теплый. В 11 часов мы выходим во двор.

Мне кажется, что на меня смотрит весь свет. Мы идем к грузовикам.

— Взбирайся сама, — предупреждает Петя. — не могу же я подсаживать красноармейца.



На вокзале идет спешная погрузка. Оказывается, мы везем на фронт ящики с гранатами, а ботинки — только маскировка. Я сажусь в угол вагона на ящик с гранатами. В этой же теплушке едут два юнкера. Они хорошо знают Петра Федоровича, но ни о чем не спрашивают, меня просто не замечают. И я им за это благодарна.

Перед самым отъездом в теплушку входит Лукин. Он невысокого роста, худощавый, молодой. На брови надвинута бескозырка со страшным словом "Алмаз". А одет как плакатный матрос: бушлат, пулеметные ленты, гранаты за поясом. Он едет на фронт. У моих ног стоит замаскированный ботинками пулемет.

Лукин посмотрел, как уложили груз, скользнул глазами по всем лицам, на секунду задержался на мне и исчез. Он едет в нашей теплушке, но мы его почти не видим. Все время уходит на частых остановках "протолкнуть" наш поезд и остается во второй теплушке, где едут два красноармейца. Иногда все собираются у нас. И тогда красноармейцы так сочно ругаются, что у Пети болезненно морщится лицо, и он отворачивается от меня. Лукин шипит.

— Чего ты? — удивляются красноармейцы, — Разве тут есть баба?

Я сижу, как глухая. Медленно движется поезд. Юнкера вполголоса поют незнакомую песню. Хриплым, простуженным голосом что-то говорит Лукин. Мне хорошо, я еду домой.

В Тирасполь мы приехали, когда стемнело. Долго хлопотали, пока отцепили наши теплушки и поставили на запасной путь. Я пригласила Лукина к нам переночевать.

— Ночи сейчас холодные, — говорит мне Петя. Втроем мы выходим на вокзальную площадь.

— Идти далеко? — спрашивает Лукин.

— Далекo.

Мимо промчался грузовик.

— Стой! — грозно кричит Лукин.

Грузовик останавливается, но далеко впереди нас. Мы к нему бежим. Мои ноги в неуклюжих сапогах цепляются за кочки. Больно бьет по плечам ружье. Вот мы подъезжаем к нашему дому. Улица погружена в тьму. Ворота наглухо закрыты. Нескоро подходит отец. Он не слышит ответов и отодвигает тяжелый засов. Вид вооруженных военных вызывает у него оцепенение, особенно когда один из солдат обнимает его и крепко целует. Я бегу в дом. На пороге столовой стоит мама. Потом мы все сидим в

теплой маленькой квартире в конце дома. Мама сегодня пекла там хлеб. На столе самовар, закуска, мама охает, услышав простуженный голос Лукина, и поит его горячим молоком с содой. Петя смущен, что в доме нет водки, чтобы угостить комиссара. А тот смеется:

— Водку я найду всюду. А вот горячее молоко с содой и такие ласковые руки увижу не скоро.

Мама приготовила мужчинам постели здесь же. А мы идем в большую квартиру. Там под столом спит Сережа. Так мама защищается от снарядов. Мы ложимся по бокам его, охраняем. Начинается стрельба.

— И так каждую ночь, — жалуется мама. — К утру стрельба утихает. Тогда Котовский выезжает на своем скакуне на прогулку. На нем красная бурка. Он медленно едет у самой реки, дразнит белых. И снова начинается стрельба. Базаров нет, крестьяне не приезжают, население голодает.

Я стараюсь отвлечь внимание мамы, она вздрагивает при свисте каждого снаряда. Рассказываю ей об одесской жизни, но неожиданно первая засыпаю. Утром узнаю новости. Мама уже накормила всех завтраком. Лукин и Петя ушли на вокзал. Петя вскоре приедет за мамой и Сережей. Лукин сказал, что сегодня будет сформирован пассажирский поезд из нескольких вагонов, он отправит маму. А позже в освободившейся теплушке вместе с вещами уезжает папа со мной.

Но с утра опять начинается свист снарядов. Мы беремся укладывать вещи, но у нас опускаются руки. Часам к двенадцати, когда стрельба утихла, примчался на извозчике Петя.

— Скорей, скорей, пока не стреляют!

Мама прощается с нами. На ней широкая меховая шапочка. В одной руке маленькая корзиночка, а другой она крепко держит Сережу. Кажется, что они идут на прогулку. На Сереже маленькие сапоги, которые сшил ему отец, короткая теплая курточка, переделанная из папиного пиджака. Из-под серой кепки смотрят любопытные глаза, ему нравится эта суета.

А солнце греет по-весеннему. Мы с папой бродим по опустевшему дому, по большому двору, и нам совсем не хочется возиться с укладкой. Часа через два Петя вернулся на грузовике с нашими красноармейцами. Пассажирский поезд благополучно ушел, возможно, доедет до Одессы без приключений.

Наш переезд на вокзал совершился очень быстро, было много сильных мужских рук. И вот наша теплушка сразу стала уютной. Вместо пулемета здесь стоит наш большой стол, к

стене прислонился буфетик, диван. Вид самовара у всех возбуждает жажду. Я впервые убеждаюсь в том, о чем только читала, — хорошо раздувать самовар сапогом. Мы все собрались за столом. Отец хозяйничает, заваривает чай, угощает всех домашней колбасой, ветчиной, вареньем.

За столом шумно. Лукин снял бескозырку, на нем нет пулеметных лент, вид у него домашний. Он все время шутит, а смеяться ему трудно, голос хрипит. Глаза у комиссара зеленые и какие-то прозрачные. Юнкера по-прежнему сдержанны. Я ценю деликатность моих спутников, на меня никто не обращает внимания, будто на мне шапка-невидимка. По-прежнему я чувствую себя скверно в мужском костюме. Только Петя изредка назовет меня "Ваней" и засмеется.

Наконец наш товарный поезд отходит. Прощай, Тирасполь, мое детство моя юность.

К Раздельной подъехали быстро, а здесь застряли. Лукин пошел выяснить причину. Его не было долго. А когда пришел, хмуро рассказал, что на станции с вечера стоит эшелон солдат, которые едут на фронт в Тирасполь. Среди солдат оказались всякие. Многие на остановке перепились и стали подговаривать остальных отказаться от поездки. Солдаты бродят по станции, их сейчас трудно собрать. Лукин приказал арестовать троих зачинщиков, а эшелон готовить к отправке. Едва Лукин закончил рассказывать, как к теплушке подошла огромная ревушая толпа пьяных солдат. Они требовали матроса, который вздумал ими распорядиться, они сами его арестуют, растерзают за то, что он арестовал их товарищей. Толпа бесновалась. Мы застыли, как изваяния. Лукин, стоя в дверях теплушки, возвышался над толпой и молчал. В широком просвете дверей я видела его небольшую складную фигуру. Рука лежала на поясе, где граната. Вот он медленно повернул голову в нашу сторону, посмотрел, отвернулся и прыгнул в середину толпы. Раздался торжествующий рев. Мы вскочили на ноги. Несколько минут толпа орала, а потом неожиданно стала утихать. Когда мы подошли к двери, то увидели, что солдаты, как большое стадо, бредут к станции и продолжают кричать, а сзади идут наши юнкера. Мы долго сидели в теплушке. Папа нервно курил. Красноармейцы тоже исчезли. И, наконец, все появились. Возвращались медленно, разговаривали о каких-то будничных делах, смеялись. На вопрос Петра Федоровича Лукин скупно ответил, что эшелон уже отошел, арестованные завтра, когда проснутся, будут догонять своих товарищей.

Отец укоризненно спросил Лукина, зачем он так опрометчиво прыгал в середину разъяренной пьяной толпы. А тот нехотя ответил:

— Хотел увести их подальше от нашей теплушки.

В Одессу мы приехали уже вечером. Поезд остановился на первой Заставе. Лукин в теплушке оставил дежурного красноармейца, а мы зашагали по шпалам к дому. Путь был

далекий, до Одессы Малой. И снова мои сапоги цеплялись за кочки, за рельсы. Впереди идет Петя с Лукиным, мы с отцом сзади. На мне уже нет ружья. Отец крепко держит меня за руку, как маленькую. Наконец, мы свернули в переулок, идем вдоль кладбищенской стены. Впереди огнями сверкает Артиллерийское училище. Мне кажется, что я вижу окна Лидиной квартиры. Утром Лида потребовала, чтобы я осталась в постели, — у меня простуда, небольшая температура. Я покоряюсь, хотя мне очень хочется побежать к маме, она так близко, у бабушки. Липа вчера ее видела.

К полудню к нам приходит молодой военный врач Котов. Он живет в училище и хорошо знает семью Репниковых.

— Лидия Петровна, кто у вас болен? Я утром видел Петра Федоровича, и он мне ничего не сказал. А сейчас комиссар направил меня к вам.

— Это недоразумение, — говорит Лида, — у сестры легкая простуда.

Котов, смеясь, советует лечить меня яблоками.

Долго болеть я себе не разрешила, надо было догонять Липу, она уже сдала анатомию. И снова мы стали уходить утром и возвращаться только вечером и узнавать от Пети новости прошедшего дня.

Лукин сказал Пете, что нужно для нас подготовить одну из своих офицерских квартир, но Петя уклончиво ответил, что отец перевез уже вещи на Слободку. Положение большевиков сейчас шаткое, и, по-видимому, Лукин сам понимает, что незачем нам переезжать в Артиллерийское. Каждый день у Пети с Лукиным происходит обмен двумя фразами:

— Ну, как Ваня?

— Здоров, учится.

Прошло две недели, наступила Масленица. Лида знает, как отец любит праздничные традиции. Она хочет отметить его приезд и затевает блины. Но из города никто не мог прийти, — кто же сейчас по вечерам ходит? Репниковы пригласили двух знакомых преподавателей с женами. Мы с Лидой надели свои праздничные наряды — черные юбки и белые батистовые блузки. Вместо брошек мы приколотили медицинские значки — из высокой чаши знания пьет змея мудрости. За столом невесело, все время говорят о том, что большевики уходят. Лукина сегодня два раза вызывали в город. В училище жгут документы, курсанты укладываются. Снова будет перемена, снова стрельба. Снова кто-то займет училище, будет расправа.

Внезапно раздался стук в дверь, и она распахнулась. На пороге появился Лукин. Он стоял молча и смотрел на наш праздничный стол. Все съежились. Лида первая пришла в себя и пригласила Лукина к столу. Тот попросил прощения, что ворвался, но сейчас ему нужен только Ваня.

Мы вышли в длинный коридор, за нами выскользнул папа. Лида взглянула на Петю, и тот как растворился в темноте коридора. Мы с Лукиным стояли у широкого окна, за которым на столбе висел яркий фонарь. Я видела напряженное лицо Лукина и слышала по-прежнему простуженный голос:

— Ваня, я только что из порта. Меня вызывали. Сегодня мы уходим. На "Алмазе" мне дают два места — для своих, для близких. Собирайся, бери отца, едем. Ты не можешь здесь оставаться, ведь придут белые.

Я смотрю в зеленые прозрачные глаза комиссара и молчу. Пауза затягивается. Лицо Лукина теряет свою напряженность, снова становится домашним, и он ласково мне говорит:

— Прощай, Ваня. Будь счастлива.

Когда его шаги стихают на лестнице, из темноты появляются отец и Петя. Втроем мы долго молча стоим у окна и видим, как мелькают огоньки: во дворце идет предотъездная суета.

Мы возвращаемся в квартиру, гостей там уже нет. Лида, узнав о Лукине все время повторяет: "Сумасшедший". Папа молчит. Легли спать мы поздно, не засыпали. А в столовой еще сидели мужчины и курили. И вдруг снова послышался голос Лукина, и все затихло.

Когда мы выбежали в столовую, то увидели растерянных папу и Петю. А рядом с печкой стояло огромное трюмо. Свет электрической лампочки отражался в нем, оно сверкало.

Только что был Лукин. Он внес зеркало, сказал:

— Это Ване, на память, — и исчез.

— Боже мой, — наконец пришел в себя Петя. — Ведь это трюмо из юнкерской столовой. Завтра большевики уедут, и все скажут, что я его украл.

— Давай отнесем его на место, — предложил отец.

Они вынесли трюмо и очень долго не возвращались. А вернувшись, чертыхались, сердились, смеялись. Им было очень тяжело вдвоем тащить трюмо через несколько дворов, спускаясь и поднимаясь по лестницам.

— Как он его тащил, один, такой маленький, худой?

— Я же говорила, что он сумасшедший, — повторяла Лида.

Лукин навсегда исчез из нашей жизни, оставив у нас чувство теплоты и какой-то грусти.

В 1947 г. после войны Петр Федорович мне говорил, что его знакомый встретил Лукина на фронте. В 37-м году он был арестован и сослан в лагерь. Во время войны его освободили и направили на фронт. Он был все такой же подвижный и горячий.

## 2. Кружилиха.

О том, как в городе происходит смена властей, можно было судить по жизни Артиллерийского училища, - там были хорошие помещения для воинской части. Появились петлюровцы, немцы.

Лида увидела немецкого солдата, подвешенного за руки (так наказало его начальство), и начала громко плакать и кричать:

— Мерзавцы! Это же человек!

Петя еле затащил ее в комнату.

Мы жили на Слободке. Торговля дровами шла плохо, было голодно. И все же летом Катя вздумала поехать на неделю в Бессарабию. Она взяла с собой меня и 12 летнюю дочку Вани Надю. Никтоне думал об опасности путешествия, а ведь Бессарабия уже принадлежала Румынии. Мы доехали поездом до Тирасполя, там получили пропуск и дальше через мост поехали на лошадях. По пыльным улицам Варницы проходили шеренги босых румынских солдат. Один из солдат дудел в длинную трубу. Офицеры, затянутые в корсеты, с широкими ватными плечами, в огромных фуражках, пыжились. У некоторых были слегка подкрашены щеки. Население открыто над ними смеялось, называло "цыганами", но офицеры делали вид, что не понимают по-русски.

Перед нашим отъездом пришел Витя Сербов. Мы все знали его еще десятилетним мальчишкой. Он каждое лето приезжал в Варницу к своей бабушке. Витя закончил в Измаиле гимназию и принес мне свои документы с просьбой передать в Одесский университет на юридический факультет. Я выполнила просьбу Вити и при этом заплатила за него за первое полугодие учебы. Осенью Витя приехал в Одессу со своим отцом, — красивый, похожий на Христа, поп-молдаванин горячо поблагодарил меня за услугу. А я потом не раз говорила Виктору, что в какой-то степени чувствую ответственность за поворот в его судьбе.

В августе я возвращалась с урока и подошла к Тираспольской площади, но трамваи на Слободку не ходили. "Там пожар", — объяснили мне.

Действительно, в той стороне небо было черное и громыхал гром. Я пошла пешком, но только свернула на Градоначальническую, передо мной открылась страшная картина. Навстречу мне беспорядочно бежали люди. Они несли на руках детей, вещи, толкали впереди себя тачки с вещами, детские коляски. А грохот превратился в сплошной уже знакомый гул непрерывно взрывающихся снарядов. Все мне кричали, чтобы я вернулась:

подле Слободки загорелись артиллерийские склады, снаряды взрываются и летят во все стороны.

Вместо ответа я бросилась бежать на Слободку. Все жильцы нашего дома собрались в небольшом погребе, чтобы защитить себя от осколков. Опять мы покорно переживаем взрывы. Пожар продолжался два дня и только потом стал постепенно стихать.

Мы с Липой вновь взяли за учебу, аккуратно ходили на лекции, практические работы, пытались учить дома, но — безуспешно. Мы все время хотели есть, а еды не было. Сережа, тоненький, с худеньким личиком, дразнил нас:

— Ах вы, медяшки (вместо "медички"), — "це-аш, це-аш"!

Потом началась эпидемия испанки. Первой заболела мама. Но ей пришлось недолго быть в постели, так как сразу заболели остальные. Все металось в бреду, а рядом в церкви почти непрерывно раздавался похоронный звон. По нашему переулку целый день несли и везли покойников. Выздоровление было затяжным. Истощенные организмы с трудом преодолевали болезнь.

К новому году Липа уехала на каникулы и больше в Одессу не вернулась: румыны закрыли границу. Мы встретились только через 24 года. Тогда я узнала о судьбе Леди. До 26-го года он писал изредка родным из Китая. Брался там за всякие работы. Женился на дочке генерала, которая вскоре покинула его вместе с годовалым сыном Егорушкой. У Леди был туберкулез.

После войны в романе Ильиной "Возвращение" я прочитала, почему хорошие русские люди попали в Харбин и как им там жилось. Я отлично представляю жизнь Леди.

19-й год оказался для нас еще более страшным. Были добровольцы, интервенты, французы. В Артиллерийском стояли войска зуавов. Они ели бизоньи окорока и маисовый хлеб. А население получало гороховый хлеб, многие умирали от голода. Отец отказался от хозяйственных покупок, он перестал разбираться в деньгах, курс и вид которых менялся. Были сотни, тысячи, миллионы. Были "керенки", украинские "карбованцы", деникинские, "колокольчики", на которых красовалась надпись "единая неделимая Россия" и изображение царь-колокола с отбитым углом. Были австрийские кроны, пфеннинги, а также деньги, которые выпускались разными городами. И все это ничего не стоило.

На Слободке поселился мамин брат Ваня со своей семьей. Его жена Миля иногда приносила нам тарелку ячневой каши, которую она добывала на Сахарном заводе, учила маму, как из нее готовить всевозможные блюда — котлеты, икру, блинчики. Лида продавала на базаре вещи. Деньги тут же все до копейки тратила на покупку еды, — она



не была уверена, что завтра они не превратятся просто в бумажки. Потом она готовила вкусный обед и обязательно звала папу: он терял последние силы.

У мамы обнаружилась тяжелая болезнь — камни в печени. Когда они проходили через желчный проток, мама кричала страшным голосом. Доктор сказал, что нужны минеральные воды. Я продала свою золотую медаль и все лето покупала боржом. Но он помог мало.

Облигации, над которыми всю жизнь отец дрожал, сберегая их на "черный день", потеряли всякую ценность. Мы гибли. Жить было нечем. Приближалась зима. Петр Федорович предложил отцу пойти в Артиллерийское на работу ночным сторожем. Там был паек. Мы бросили Слободку и переехали в Артиллерийское. Нам дали подвальную квартиру. Вход в нее был под парадной лестницей, вероятно, там раньше жил швейцар. Комната длинная, как труба, первая ее половина темная, отделенная аркой, во второй — большое окно над землей. Оно выходило в переулок между двумя главными зданиями, летом служило нам дверью. Пол в подвале был кафельный, но паровое отопление и электрический свет делали помещение вполне сносным и, по сравнению с нашим слободским жильем, просто великолепным. Был паек, была рядом Лида. Ваня также получил здесь работу.

Мы начали немного приходить в себя, хотя отец по-прежнему чувствовал себя плохо. Ему приходилось дежурить по ночам у ворот. Утром он возвращался домой, еле волоча ноги, до самого пола спускался тяжелый тулуп. Днем он отдыхал, пытался заснуть. Вставал с головной болью, с опухшим красным лицом.

Осенью приезжал Деникин. Мы пошли на него посмотреть. С группой военных Деникин вышел на паперть Собора, который находился на углу рядом с Артиллерийским. Ждали, что он что-нибудь скажет. Но Деникин — невысокий, коренастый — несколько минут молча постоял на паперти, потом молча сел в автомобиль и уехал. Толпа тоже молчала.

В январе 1920 года белые уходили навсегда. В Артиллерийском опять шла суэта. На этот раз уехало много преподавателей. В Кадетском корпусе осталась группа кадетов, родители которых по разным причинам не приехали за детьми. Преподаватели решили уйти с ними в Сербию.

Морозным январским утром преподаватели, кадеты и несколько добровольческих офицеров пешком пошли к Овидиополю. Там директор Кадетского корпуса Бернацкий через румын-пограничников связался по телефону с румынской королевой, которая была русской княжной, и попросил у нее разрешения пройти через Румынию. Она ответила, что утром для них будет открыта граница. Вечером Бернацкий собрал преподавателей и предложил еще раз обдумать свое решение. Он указал на то, что здесь решается не только

судьба взрослых, которые отдают отчет в своих поступках, но и судьба детей, которым предстоит еще не скоро стать взрослыми. Имеют ли они право лишать детей самого дорогого — Родины? Как ни страшны большевики, детям они зла не сделают. Преподаватели решили вернуться в Одессу. Но добровольцы подговорили нескольких кадетов старших классов и утром тайком ушли через Румынию в Сербию. С ними, не сказав ни слова отцу, ушел 16-летний сын Бернацкого.

Большевики поместили детей в детские дома, а преподавателей арестовали. Через две недели их освободили и предложили заняться подготовкой Пехотного командного училища, где они затем они будут работать. Бернацкого назначили заведующим учебной частью.

В начале тридцатых годов, когда по всему Советскому Союзу начались сталинские репрессии, был инсценирован заговор военных специалистов. Все преподаватели были арестованы и погибли.

В 1920 году летом умер дедушка, а осенью от сыпняка при трагических обстоятельствах умер мамин брат Ваня. Зимой отец заболел возвратным тифом, жесточайшие приступы следовали один за другим. Во время выздоровления отец стал странным, равнодушным. Потом это прошло, но как только отец засыпал, сейчас же начинал стонать и метаться, дышать хрипло, надрывно.

Сереже надо было учиться в школе, однако вблизи школ не было, а ходить далеко он не мог, не было башмаков. Я с ним занималась, но занятия шли плохо: у меня было несколько уроков (их мне находил Илюша) в разных концах города, и надо было ходить на учебу.

Высшие Медицинские курсы уже давно слились с университетом. В институте вместо Липы у меня была подружка Шура, которая близко жила от Ольгиевской и часто звала меня к себе, чтобы днем выпить горячего чаю без сахара. Мы замерзали в холодных аудиториях. Профессора не получали зарплаты. Не голодали только те, у кого была частная практика.

Вот идет наш любимый профессор патологической анатомии Тизенгау-зен, остзейский барон, похожий на Мефистофеля, с горбатым носом и седой бородкой, прихрамывая и что-то напевая, размахивая судками. Он направляется за обедом в больницу, а мы с Шурой идем сзади и видим, как шлепает у него на ходу оторванная подошва.

В ледяной зимний день в часовне Валиховского переулка лежат, как две куклы, профессор Блаумберг и его дочь-ассистентка 35-ти лет. Они отравились цианистым калием и оставили записку, что уходят в лучший мир, где нет никакого насилия.

На углу Ольгиевской демонстративно торговала папиросами мачеха профессора Филатова, которая заменила ему мать. Она поссорилась со второй женой Филатова и не хотела принимать от сына денег.

Кружила кружилиха.

### 3. Студенческое лето 1921 года.

Гражданская война оставила молодой Советской стране скверное наследство: разруху и голод. С голодом пришли болезни. Нужны были новые кадры врачей. Нам выдали свидетельства, в которых писалось, что мы, студенты VIII триместра Медицинского института, являемся мобилизованными в порядке трудовой дисциплины для окончания института, приравниваемся к курсантам военно-учебных заведений и пользуемся всеми правами и преимуществами военнотружеников. Свидетельства подписал Председатель Центральной Особой Мобилизационной комиссии по ускоренному выпуску специалистов. Мы стали получать паек — хлеб и приварок — крупу, мясо, рыбу.

Летние каникулы были отменены. Характер нашей учебы теперь изменился. Мы перешагнули через изучение естествознания. Позади остались: патологическая анатомия, фармация, общая терапия, практические занятия по оперативной хирургии (когда мы ампутировали руки и ноги трупам), по десмургии (когда на головах своих товарищей из бинтов соорудили "шапку Гиппократову"). Теперь и в клиниках, и на лекциях мы столкнулись с живыми больными людьми.

В огромной аудитории Терапевтической клиники на углу Ольгиевской мы слушали лекции знаменитого киевского профессора Стражеско, бежавшего от голода в Одессу. Внизу на носилках лежит больной, профессор проводит обследование. Он делает это, как талантливый актер. Сидя наверху, мы не только видим больного, но и отчетливо слышим, как профессор определяет границы сердца. Он ударяет пальцем правой руки по вытянутому пальцу левой, и вот звонкий звук переходит в глухой. Потом профессор кладет руку под правое подреберье больного и, ритмически нажимая, говорит:

— Печень увеличена.

И нам кажется, что не профессорские пальцы, а наши собственные ощущают края увеличенной печени.

Сумерки заполняют аудиторию, становится темно. Света нет. Мы зажигаем принесенные свечи, укрепляем их на столиках и снова склоняемся над конспектами, а снизу из темноты продолжает доноситься вдохновенный голос профессора.

О болезнях сердца читает Димитренко. Он врач и поэт. О сердце говорит, как о самостоятельном, умном, чутком, но часто капризном существе, которое страдает и которому нужно помочь.

Мы с Шурой увлекаемся хирургической клиникой. Операции там проходят два раза в неделю, и мы никогда их не пропускаем. Здесь, как всегда, я слежу не столько за

сущностью операций, сколько за обстановкой. Вот хирург долго моет щеткой руки, потом поднимает их вверх, чтобы высохли. Сестра соединяет завязки халата на профессорской спине. Бледный, трепещущий больной неловко взбирается на операционный стол. Его накрывают большой простыней. Только там, где будет операция, через разрез в простыне просвечивает тело больного. Его густо смазывают йодом. Дежурный врач накрывает лицо хлороформной маской:

— Считайте.

Больной считает, потом начинает путать цифры и замолкает. Со скальпелем подходит хирург. Он делает первый легкий надрез, и кожа будто раскалывается.

Потом надрез клетчатки, мышцы. Звякают инструменты, которые сестра все время подает профессору. Слышатся приказания:

— Зажим. Тампон. Пинцет.

Крови нет. По бокам раны все кровеносные сосуды зажаты, на них висят зажимы. А руки профессора уже в глубине живота, вытаскивают и кладут тут же на марлевую салфетку кольца кишок. Больной застонал. Встревоженный дежурный капают хлороформ на маску, пинцетом вытаскивает изо рта язык, чтобы он не запал, и навешивает на него зажим.

Операции обычно делал профессор Часовников. У него маленькие ловкие руки. Он щеголяет умением при операции аппендицита делать крошечные разрезы. А вот объяснять свои операции совершенно не умеет: пытается что-то нам рассказать, но произносит только отдельные отрывочные слова. Над маской блестят лукавые глаза. Ему сорок лет, лицо пухлое, бабье. Во время операций часто чертыхается. Лекций он нам не читает, по этому предмету мы слушаем старого, больного профессора Серапина, но неохотно посещаем его лекции.

В это лето Часовников вместе с Филатовым увлекается лицевыми пластическими операциями. Война оставила страшные следы на лицах многих людей, надо их маскировать. Мы знаем, что профессора много часов проводят в анатомке — Филатов делает чертежи, а Часовников режет трупы. Филатов придумал делать заплаты на лице из кожи самого больного: кусок кожи вырезают на шее или на руке, но срезают не до конца, кожа висит на "стебле", на "ножке", которая ее питает до тех пор, пока верхняя часть кожи приживет, — тогда кожу срезают.

В клинике уже несколько месяцев живет девочка. У нее от голода выгнил угол рта и страшно обнажилась челюсть. Часовников сделал заплату, и девочка долго ходила с прибинтованной к голове рукой.

В клинику попала деревенская старушка. У нее на носу кожный рак. Часовников решил произвести эксперимент. Но лоскут, вырезанный на шее, не приживается, организм старый, увядший. И снова, и снова он повторяет свою операцию. Старушка жалобно стонет. Ей нельзя дать хлороформ, сердце не выдержит. И она просит Часовникова:

— Родненький... Миленький...

— Кой черт я для тебя, бабка, родненький, — бубнит из-под маски Часовников. — Видишь, как тебя мучаю. А ты, бабка, молчи, терпи.

Курс глазных болезней читает знаменитый Филатов. И хотя все говорят о его выдающейся талантливости, о том, что он также хороший художник и неплохой поэт, мы с Шурой почему-то его не любим. Нам не нравится его вытянутая, как яйцо, голова, невыразительное лицо. И потому лекции кажутся неинтересными.

Но вот область человеческих болезней, где нам хотелось бы работать, — это нервные болезни. Мы покупаем дополнительную литературу, не пропускаем ни одной лекции и горды тем, что профессор Образцов, невысокий с проседью, при встречах с нами на улице здороваётся: ему примелькались наши лица. Я говорю, что у него с Шурой есть какое-то сходство — такие же хорошие синие глаза и мягкая улыбка. Довольная Шура смеется.

Мы по-прежнему голодаем. Но лето яркое, сверкающее, мы молоды, и нам хорошо. Вот стайкой сидим на невысокой каменной стеночке в огромном своеобразном дворе Медицинского института, где много высоких с большими оконными просветами клинических зданий, много асфальтированных дорожек и каменных ступенек. Мы едим виноград. На большинстве из нас белые платья, сшитые из простыни, белые туфли на высоких каблуках на веревочной подошве. На головах туго накрахмаленные белые полотняные шапочки с отогнутыми краями. Это новая мода. Часовников называет нас "дамы из Амстердама". Мы только что вернулись с практических занятий по судебной медицине. Там решали такую задачу:

— Совершено преступление. Преступник не обнаружен, но у соседа найдена тряпка со следами крови. Кто-то ею вытер окровавленные руки. Преступник ли сосед?

И вот мы соскабливаем с тряпки присохшую кровь, растворяем, капельку раствора кладем между двумя стеклышками, смотрим в микроскоп. Сосед невиновен — он зарезал курицу. Весь курс судебной медицины напоминает детектив.

Мы отдыхаем и лениво болтаем обо всем. Наш курс очень большой, было человек триста, но с каждым годом он тает. Мы всех, конечно, уже знаем, со всеми здороваемся. Состав курса разнообразный. Большая часть — это голодные девочки и мальчики. Но есть люди и постарше, есть и сытые. Вон неразлучные друзья, профессорские сынки и сами будущие

профессора. Шура Гринфельд и Миша Ясиновский. Они всегда сидят впереди всех, так как приходят со складными скамеечками. У них есть все учебники, атласы. Оба чистенькие, пай-мальчики. Все экзамены и зачеты сдают в первые сроки.

Вот приветливо улыбается мне будущий профессор Баренштейн. Ему всегда хочется сказать мне что-то ласковое. А я, как еж. Меня раздражает его румяное сытое лицо, хорошо сшитый костюм, уверенные манеры. Ему тридцать лет, он уже закончил юридический факультет.

Наша группа, с которой мы всегда проводим практические работы, тоже неоднородна. Угловатая Катя, дочка известного гинеколога, профессора Орлова, с ней дружит самая из нас молодая, всегда нарядная Феша. В прошлом году, придя в институт, она нам сказала: — Вчера расстреляли папочку. Он был жандармский полковник.

А вот бывшая фельдшерница Зинаида Георгиевна. Она сверкает всеми красками: золотистые волосы, белейшие зубы, голубые глаза, розовые щеки. Но ей тридцать пять лет, и мы удивляемся, что она сохранила еще интерес к учебе и так же заразительно хохочет, как мы.

В нашей группе шесть человек, и все с любопытством слушают Шуру — она обратила наше внимание на одного студента. Мы знаем, что ему 35 лет и что он был офицером. Это видно по его выправке, походке. Внешность немножко нерусская: черноволосый, крупные правильные черты лица. Голос низкий, горловой. Шура указывает, что в шумной, болтливой толпе студентов Лехциев всегда один. Он сидит на верхних скамейках аудитории, внимательно слушает, записывает лекции, вовремя сдает экзамены. Угрюм, молчалив. Друзей нет. Видно, очень беден: края синих диагональных брюк потрепаны, студенческая, надетая немножко набекрень, фуражка выцветла.

Шура с упреком себе и нам говорит, что можно быть одиноким, находясь среди множества людей, ведь никто этого не замечает, все эгоисты, заняты только собой. Мы соглашаемся с Шурой, признаем свою вину и с этого дня начинаем оказывать внимание Лехциеву. При встречах с ним первые здороваемся, угощаем виноградом, приглашаем сесть поближе. Лехциев вежлив, но сдержан. Потом это всем надоедает. Только мы с Шурой продолжаем "оживление" Лехциева. Это очередная выдумка моей милой подруги.

Зимой нам для курирования выделили больную нефритом — воспалением почек. Болезнь смертельна. Шура мне предложила:

— Ну зачем мы будем мучить умирающую, ей осталось жить две недели, а мы начнем рисовать на ее несчастном теле границы легких, сердца, выстукивать, выслушивать... А потом нам дадут другого больного...

Все время Шура приносила больной в холодную неотопливаемую клинику горячий чай в термосе и свой последний кусочек хлеба. Больная умерла. Мы остались без зачета.

Эксперимент с Лехциевым удался, — тот стал оживать. Научился еще издали нам улыбаться, занимать для нас места на передних скамейках, возвращался с нами после лекций.

На углу Подбельского и Толстого для нас, медиков, была открыта столовая. Лехциев вошел в состав организационной комиссии, там у него появился рыжий приятель. При открытии столовки был дан концерт силами самодеятельности. Оказалось, что Лехциев хорошо поет. Здесь мы с Шурой хотели уже поставить точку, но теперь уйти от Лехциева было нелегко. Он попадался нам на каждом шагу. Даже не обедал, пока мы не приходили в столовку. Это начинало надоедать.

— Смотри, смотри, — говорила мне Шура, когда мы подходили к открытому окну, где Лехциев выдавал обеденные талоны, — как он вытягивает шею, глазами разыскивает тебя. И ведь сидел все время голодный, ждал.

Я злилась. А Лехциев присаживался к нашему столику, пытался развлекать несмешными анекдотами и всегда начинал одной фразой:

— Так вот, я и говорю...

Мы молчали. Он нам мешал. Но Лехциев этого не замечал. После обеда темнеет. Нам хочется побродить по городу, посмотреть в Красном переулке в театре Массодрам пьесу "Лев и Андрокл", поставленную по совершенно новым театральным законам. Лехциев, конечно, готов идти с нами куда угодно. Но он нам не нужен. В последнее время Шура начала мне говорить, что Лехциев, наверно, ее ругает в душе. Ведь он только на меня и смотрит. Лучше ей уйти, чтобы оставить нас вдвоем. Я потеряла способность понимать, когда Шура говорит серьезно и когда шутит. Мне хотелось поколотить мою милую Подружку.

В таком вот настроении мы вышли однажды августовским вечером из столовки. И вдруг я заметила, что Шура растворилась в темноте. От злости я Молчала, а чуточку сзади за мной шагал высокий человек в наброшенной на Плечи солдатской шинели. Мне стало его жалко. Я вздохнула и решила мужественно вытерпеть эти проводы. Но нужно же о чем-нибудь говорить. Я спросила Лехциева, откуда он приехал в Одессу.

— Из Крыма, — ответил он.

— А близкие живут там?



— Одна мать. Она с нетерпением ждет, когда я закончу институт.

Мы шли по Торговой и Херсонской. На углу у молочного магазина Чички-на остановились. Мне оставалось только перейти через улицу. Я уже две недели ночевала в пустой квартире Муры Репниковой. Наконец-то я могу распрощаться. И вдруг я услышала:

— Будьте моей женой!

Я онемела. Вечер был прохладный. По августовскому небу катились падающие звезды... С искренним негодованием я воскликнула:

— Как же так можно? Сразу. Ведь вы меня совершенно не знаете.

— Знаю, — глухо сказал Лехциев, — знаю уже четыре года.

— Не знаете, а видели. Я для вас чужая, как и вы для меня. Я даже не знаю, как вас зовут.

— Георгий, — уныло ответил Лехциев. — Простите, если я не так сказал. Поверьте, что об этом я говорю первый раз в жизни.

Полная возмущения и какой-то обиды, я сказала ему что-то и ушла. Дома я долго не могла успокоиться. На душе было скверно, меня не оставляло чувство какой-то вины. Утром на лекцию не пошла. Прибежала встревоженная Шура. Когда я рассказала о вчерашнем разговоре, она стала читать мне настоящую лекцию:

— Вот так поступают эгоисты, нечуткие, бездушные люди. Сначала проявила внимание, приручила, как собачонку. А человек ожил, поверил, у него появились мечта, планы. И что же получается сейчас? Его отшвырнули, и он навсегда потеряет веру в людей.

Чем больше говорила Шура, тем испуганнее делалось у меня лицо. И тут она не выдержала и расхохоталась:

— Успокойся. Не выходить же тебе за него замуж из жалости. Хотя он был бы превосходным мужем, приносил бы тебе воду, ходил по пятам, как большая собака. Конечно, получилось нехорошо — это урок на будущее. Все-таки надо думать над своими поступками. Сейчас идем в институт. А Лехциев хоть понял, о чем ты ему говорила?

Но Лехциев понял не скоро. Он еще долго поджидал нас в столовой, и мы перестали туда ходить. Он занимал для нас места, а мы, не замечая, проходили стороной наверх. По окончании лекций он стоял у выхода, и я не знала в какую дверь идти. Теперь у меня уже

не было никакой жалости, я только мечтала о том, чтобы он оставил меня в покое. Наконец Лехциев понял. Он опять сидел наверху, угрюмый, один. Перестал петь.

При окончании института он женился на немолодой, некрасивой женщине, нашей сокурснице. Она была раньше фельдшерницей, жила в общежитии, воспитывала пятилетнюю дочку умершей сестры. Оба получили назначение и уехали.

Когда я спасалась от проводов Лехциева, то, выходя из аудитории, присоединялась к большой группе студентов, и так мы шли по Херсонской, а потом расходились в разные стороны. Чаще всего я оставалась со старостой нашего курса Геннадием Рожинским. Трамваи не ходили, и мы шли пешком по Екатерининской. Рожинский жил у вокзала, я шла на 4-ю станцию.

Старостой нашего курса Рожинский был давно, он прекрасно справлялся со своими обязанностями: хлопотал о стипендиях нуждающимся студентам, об общежитиях, о продлении сроков экзаменов. Под мышкой всегда был старый портфель, наполненный зачетными книжками. Портфель был такой тяжелый, что он перетягивал Рожинского, и тот ходил, склонившись в сторону. Рожинский был беден. Он еще продолжал расти: рукава студенческой тужурки и брюки стали ему коротки. А внешность была у него на редкость уродливая: он напоминал большую обезьяну. Руки казались непомерно длинными, лоб низкий, близко поставленные глаза, большой рот. И при этом каркающий голос. Но собеседником он оказался интересным. В темноте я не видела его уродливого лица, а к голосу постепенно привыкла. Он мне рассказывал о психоанализе, о фрейдизме. Принес книгу Фрейда "Бред и сны" и потребовал, чтобы я ему рассказала о своем впечатлении. Мы стали возвращаться домой вместе уже ежедневно и искали друг друга. Рожинский открывал для меня новую область. Как-то был дождь, и Геннадий пришел в старых огромных галошах, и сейчас же на доске, где вывешивали разные объявления, появился шарж: Рожинский с портфелем в руках, в несуразных галошах, внизу надпись: "Папа Геня в маминых галошах". Рожинский не обиделся, смеялся вместе со всеми. Он был уверен, что студенты его любят, и он был прав. С ним в одной гимназии учились Грифельд и Ясиновский. Они говорили, что Рожинский закончил ее с золотой медалью. Его знали все профессора, потому что он всегда приходил к ним с просьбами о студентах.

Геннадий серьезно занялся моим образованием. Строго спросил, что я читала по вопросам философии. Потом стал мне рассказывать о Шопенгауэре, о Ницше, говорил, что нельзя жить, не выработав своего мировоззрения. И здесь очень помогает изучение трудов Маркса. О Марксе я знала только шутивную песенку, которую напевал Илюша: "Отойди от меня, сатана, И прочти третий том "Капитала ". В разговоре с Рожинским я сказала какую-то фразу, в которой соединила в одно "космополитизм" и "интернационализм". Рожинский ахнул. А я, смеясь, призналась в своем невежестве, сказала, что, вероятно, мне

это просто свойственно. Я вспомнила профессора Танатара, молекулу и атом. Но Рожинский меня успокоил. Сказал, правда, что умной меня назвать нельзя, но я определенно неглупый человек и могу свои ошибки исправить.

Определение Рожинским моих умственных способностей вызвало в моей семье восторг и долго не забывалось. Фамилия Рожинского в семье стала известной. А тем временем он мне предложил стать членом кружка по изучению Маркса. Кружок состоял из наших студентов. Туда входили также студентки, которые мне очень нравились, Яновская и будущий профессор терапевт Левина. Оказывается, я проворонила существование на нашем курсе группы интересных людей, которые учились и серьезно относились к жизни. К зиме наши разговоры с Рожинским прекратились. Он всплыл в моей жизни только через 17 лет.

Летом 1938 года я надолго уехала к Виктору в Вологду. А когда вернулась, мама дала мне огромный конверт — от Рожинского. В мое отсутствие к маме пришла женщина — медицинская сестра одной из крупных больниц Донецка, приехавшая в Одессу в санаторий. Она рассказала маме, что, когда она получила путевку, главный врач больницы Геннадий Григорьевич Рожинский попросил зайти и адресный стол и узнать, где живет... Он начал писать мою фамилию, но у него так дрожала рука, что он остановился. Заметив удивленный взгляд сестры, сердито сказал:

— Это совсем не то, о чем вы думаете, это юность. Понимаете? Юность! Она бывает у человека только один раз в жизни.

Он просил сестру деликатно все разузнать о моей жизни. Сам он пользуется в городе любовью и известностью. Женат. У него двое детей — девочке двенадцать лет, мальчику — шесть. Мама передала Рожинскому привет, рассказала о моей жизни. В ответ он прислал огромное письмо. Наша переписка длилась три года. Ему очень хотелось приехать увидеться, но я его удерживала. Тогда он предложил обменяться карточками. Мне это тоже не нравилось, ведь прошло 17 лет. На карточке, которую я получила от Рожинского, был изображен сорокалетний мужчина с седыми висками. Сквозь очки смотрели умные глаза, в зубах зажата трубка. Лицо некрасивое, но нет ничего уродливого. Письма от него приходили часто. Он писал мне решительно обо всем. И о работе, и о том, что уже 15 лет он проводит научные исследования гриппозного вируса, подробно разъяснял мне сущность своей работы, как будто я могла что-то понять. Писал, как в голодовку уехал по назначению в Донбасс с матерью и сестрой-учительницей. Женился. Произошел обычный конфликт. Мать перешла на другую квартиру и умерла.

Он писал: "Жена умный человек и хороший врач. Но она внесла в мою жизнь и мой дом ледяной холод. У нас двое детей, которых мы очень любим. Много раз мы пытались наладить семейную жизнь, но напрасно".

О детях: "Они тебя знают и любят, я им многое рассказываю о тебе".

Интересно, что он мог рассказывать обо мне, да еще и много? Это были письма человека очень одинокого, большого мечтателя: "Это ничего, что ты замужем. Одна мысль, что ты существуешь на свете и я могу тебе обо всем писать, делает меня счастливым. Думаю, что твой муж умный человек и не возражает против нашей переписки".

Виктор пожимал плечами и писем Рожинского не читал. Несколько раз он говорил мне, что не понимает цели нашей переписки, — зачем я отвечаю. А письма Рожинского прочитать было трудно. Сережа называл их засекреченными, так как они были написаны острым неразборчивым почерком, каким врачи пишут рецепты. Я разбирала их целую неделю и всегда делилась с мамой.

Был 39-й год. Шла война с Финляндией. Рожинский ждал мобилизации: "Я буду назначен начальником госпиталя. Не тревожусь. Я должен выполнить свой долг перед Родиной. Вчера я был в клубе. Молодежь пела прекрасную песню о том, как комсомольцы уходили на гражданскую войну. Думал о тебе. Со мной всегда карточки детей и твоя. Помни, если со мной что-нибудь случится, мои последние мысли будут о вас троих".

Но на этот раз война прошла мимо него. Геннадий мне прислал книгу Горького "Последние рассказы" с надписью: "Мой друг, прочти и пойми". Не знаю, что я там должна была понять; рассказы были неоконченные, слабые.

Потом он написал мне, что я должна прислать подарки — ему и детям. Детям книги, ему английскую курительную трубку. Книги я послала, трубку не нашла. Рожинский не только мне писал все о своей жизни, но требовал, чтобы я подробно писала о себе всякую мелочь.

Как-то я простудилась, не пошла на работу и написала ему письмо, упомянув, что приняла аспирин. И сейчас же получила встревоженный ответ: "Не смей принимать аспирин, это лошадиное средство". Он давал мне кучу советов, прислал рецепт. В июне 41-го года Рожинский мне написал: "Моя дочка Женя получила путевку в детский санаторий на Куяльнике. Она приедет в первых числах июля. Я пришлю тебе телеграмму. Ты ее встретишь и возьмешь к себе. Проверь, в каких условиях живут дети на Куяльнике. Если там плохо, Женя будет жить у тебя".

Он меня ни о чем не спрашивал, не просил. Писал так, как пишут только матери, жене, сестре, близкому человеку. Через два дня началась Отечественная война. Больше писем от Геннадия я не получала.

#### 4. Шквал.

Кольцо голода сковало страну и стягивалось все туже. Люди метались. Некоторые бросали городские квартиры и уезжали в села. Другие с тряпками ездили по деревням и выменивали их на кусок хлеба. Теплушки заполняли мешочки, спекулянты. Они привозили продукты, но вместе с ними голодный тиф-сыпняк и вшей. Всюду бродили беспризорные дети. Они вылазили из мусорных ящиков, из всех закоулков страшные, грязные, в мешках вместо платьев. Напротив Артиллерийского был поселок "Самопомощь". Его построили перед самой войной юристы, врачи, педагоги. Он состоял из хороших коттеджей. Хозяева любовно обрабатывали цветники и садики. Владельцев выгнали из домов, назвав "буржуями", а в поселке был организован первый Детский городок. Туда привезли две тысячи беспризорных детей, и началась первая проба коммунистического воспитания. Коллектив педагогов был творческий. Его возглавлял европейски известный академик Потемкин с внешностью военного. Но в детских домах были голод, вши и чесотка. Дети разбежались. Здесь работали Нюньця и Лиза, приехавшие в 20-м году из Бессарабии. Это были близкие друзья семьи Сергеенко и мои тоже. Теперь они часто у нас бывали. Репниковы собирались покинуть Одессу.

В Артиллерийском были организованы Военно-технические курсы. Осенью я начала там работать в лазарете лекпомом. В этом мне помог старший фельдшер Аксенов, знакомый Репниковых. Он жил в Артиллерийском давно, пользовался в окрестности большой популярностью, к нему шли за помощью как к врачу. Нам он казался очень старым. Когда он в следующем году женился вторично мы были поражены. Аксенову было 42 года.

Мое поступление на работу было обусловлено многими причинами.

Основная — право получать ежедневно хлеб и обед. Кроме того, меня волновало скорое окончание института и, конечно, посылка на село, а я не умела сделать даже хорошей перевязки. И еще была важная причина. Петр Федорович получил предложение занять должность заместителя директора совхоза "Конецполь" под Первомайском. Там была еда. Лида увозила с собой Леню и временно на зиму брала папу. Ему становилось все хуже. Репниковы передавали нам свою квартиру.

Моя работа в лазарете закрепляла за мной право жить в этой квартире. В лазарете работа была так построена, что я могла посещать институт. Штат большой, три врача и пять фельдшеров, их называли лекарскими помощниками — лекпомами. Встретили меня приветливо, все знали, что я студентка. Я попала в хороший мужской коллектив, где не было ссор и дразг. Аксенов старался расширить мой опыт и часто звал работать с ним в аптеку, которой он заведовал. Дверь аптеки была открыта. Лекпомы мне удивленно говорили, что они часами слышали, как оттуда доносились только позвякивание склянок

да отрывистые фразы Аксенова, мое умение работать молча и сосредоточенно очень ему нравилось. Он говорил Лиде, что я совершенно не похожа на этих фитюлек с накрашенными губами, на мне он никогда не видел даже пудры. А сам все-таки женился на фитюльке.

Лекпомы были молодыми, в возрасте 23-25 лет. Они закончили военно-фельдшерские школы и собирались поступать в Мединститут. Большинство из них стали врачами. Со мной они не допускали никакой фамильярности, называли только по имени и отчеству, оберегали от работы, связанной с выходом в поле во время практических занятий курсантов, охотно заменяли в дни дежурств. Я боялась ночных вызовов во время дежурств и всегда уславливалась, к кому из них пошлю санитаря за помощью.

Зубной врач Крапива, огромный человек в длинной до колен военной рубашке, подпоясанной ремнем, любил со мной беседовать о йогах, которыми он тогда увлекался.

А сыпняк свирепствовал, и Аксенова непрерывно приглашали к больным. Кончался февраль 1922 года, когда Аксенов сказал мне, что сегодня вечером мы пойдем к больному, который живет на 3-й станции. Нужно ночью дежурить, так как возможен кризис. Я буду следить за пульсом и делать уколы камфары. А я никогда не держала в руках шприца.

Мама тревожно на меня смотрела.

— Мамочка, я должна идти, ведь это моя профессия.

Всю ночь я просидела в маленькой душевой комнате у постели какого-то мужчины. Жена его тоже не спала. К утру моя рука уже без дрожи вводила иглу шприца в больного. Пришлось провести так и вторую ночь. Кризис миновал. Через неделю Аксенов снова пришел за мной. На этот раз больной оказалась Лидина приятельница, Наташа Нечипорук. Потом она называла меня своей спасительницей. С третьего дежурства — у ребенка — я пришла какая-то странная. Термометр показал 39.

— У меня сыпняк, — сказала я маме. — Передай это Аксену.

Потом я пошла в большую комнату и приготовила себе постель. Нечем было топить, а потому мы жили в кухне, две комнаты стояли нежилыми. В одной из них был высокий красный буфет, на стене огромная картина в золоченой раме, пол покрыт толстым пушистым ковром. Это были вещи бывшего начальника Репникова — старенького генерала Сатова. Он переехал в город к дочкам, вещи просил сохранить. Здесь я решила болеть. Рассказала маме подробно, какой должен быть уход за тифозными больными, показала, как следить за пульсом, набросила сверх одеяла папину енотовую шубу, которая всегда нас спасала от всех болезней, и погрузилась с головой в огненную печь, откуда выбралась не скоро. Аксенов объяснил начальнику курсов обстановку, в которой я

заболела, говорил о своем чувстве вины, упросил не отправлять меня в госпиталь, оставить на территории курсов и взял на себя всю ответственность за мою полную изоляцию и лечение. Он часто меня навещал и поселил в нашей квартире во второй комнате одного из лекпомов — Колечку Пинина. Каждое утро он выслушивал информацию о моем здоровье. Пинин был самым молодым и дерзким из фельдшеров. Но старший врач Кельбин видел в нем мальчишку, не обижался и всегда строго поучал.

Ко мне и Ньюнце Пинин относился, как к высшим существам. Колечка очень любил брюки галифе, духи, пудру и даже кольцо на мизинце. По ночам мама часто будила его, Колечка набрасывал шинель, полусонный находил мой пульс, бормотал: "Все в порядке", и уходил досыпать. Мама безоговорочно ему верила и успокаивалась. А я все была в горячем бреду и никак не могла вырваться из этой печи. Иногда я приходила в себя, когда меня подтягивали сильные руки Ньюнцы и удобно укладывали на подушку.

Как приятно, когда эти прохладные руки ложатся на мой пылающий лоб. Я открываю глаза и вижу у своей постели опечаленного Виктора. Он вполголоса что-то говорит маме. И снова на меня накатывает обжигающая волна огня. В комнате холодно, но я этого не чувствую. Уже давно сожжены стулья и диван, сделанный папой.

Следующий раз я открыла глаза и увидела себя на носилках. Меня несут вниз по лестнице. Я отчетливо слышу слово "пожар", но совершенно равнодушна. Так, вероятно, люди умирают. Пожар в нашем здании погасили.

Начала выздоравливать я не скоро, была уже в разгаре яркая, сочная весна. У меня было блаженное состояние. Я много спала. А потом мне захотелось есть. И это желание никогда не оставляло. Я уже ходила, но голова моя по-прежнему кружилась, и ноги ступали неуверенно. Институт, окончание, экзамены — все это было от меня далеко.

От Лиды приходили письма. У отца в эту зиму была операция грыжи, он долго лежал в больнице. Сейчас поправился, рвется домой, но Лида его не отпускает. Она собирается приехать в Одессу с Петром Федоровичем. За неделю до приезда Лиды Военно-технические курсы были расформированы. Мы остались без еды. Мама продавала на базаре какие-то вещи и покупала хлеб. Наше положение было скверным, но неожиданно нашелся выход.

Лида навестила Махновских, с которыми все время поддерживала связь. Павел Леопольдович давно закончил второй институт, сельскохозяйственный, и работал в Генетико-селекционном. Он увлекался работой на опытных участках. Один такой участок находился в новорожденном совхозе в Гнилякове. Там нужен садовник. Будет жилье, молоко, хлеб, овощи. Для отца работа знакомая. У Лиды созрел план, с которым я долго не соглашалась, увезти меня с собой в Первомайск, а отец с мамой и Сережей поедут в



Гниляково. Я не хотела расставаться с семьей. Но Лида мне указала, что помочь я ей сейчас ничем не могу, будет только лишний рот. В Первомайске же Лида меня за лето подкормит, и осенью я вернусь для окончания института. Пришлось согласиться.

Мы два дня ехали в бричке среди душистых степных трав и цветов. Был июнь. Я вспоминала чеховскую "Степь", переживания Егорушки. Встреча с отцом была радостной. Мы не могли наговориться. Он расспрашивал меня о маме, о моей болезни, о Сереже, рассказывал, как сердечно относится к нему Лида, как хорошо провел он зиму, но очень тосковал о нас. До папиного приезда мама прожила самостоятельно дней семь, но они были очень страшными, вещей на базаре никто не покупал, в доме не было хлеба.

Как-то в знойный день мама вынесла на базар какие-то вазочки и большой фарфоровый абажур, который висел у нас в столовой. В конце бесплодного дня на базар к маме пришла ее двоюродная сестра Маня Бережко. Она испугалась, когда увидела, как мама с перекошенным лицом взяла палку и, разбив вдребезги свой товар, шатаясь от усталости и голода, пошла домой, где ее ждал голодный Сережа.

Отец привез в Гниляково вместо жены и сына два скелета, обтянутые кожей. У мамы начиналась дистрофия, ее желудок не принимал пищи.

Маленькое население совхоза приняло в их лечении горячее участие. Сережу начали отпаивать молоком, сливками, маму кормить маленькими грушами-скороспелками.

Совхоз "Кобаченковы хутора" находился в национализированном небольшом имении, здесь был сад, несколько лошадей и коров. Отцу дали землянку и поручили возглавлять садоводческую бригаду, а маме доить коров и печь хлеб. Каждый день у них были две огромные кружки молока, вдоволь хлеба, овощей и фруктов. Отец выпекал для семьи большие деревенские пироги с фруктами. Все стали быстро поправляться. Доить коров мама кое-как умела, ведь в Тирасполе была своя корова, но самое трудное было утром выгнать коров на пастбище. Они не обращали на маму никакого внимания. Как только она открывала хлев, коровы выбегали и скрывались в тумане. Мама растерянная стояла среди дороги. Но вот раздавался пастушечий зов и щелканье кнута, коровы неожиданно появлялись и проходили мимо мамы, как будто она была забором. Она их иногда просто ненавидела, но молоко и сливки очень ценила — они спасали жизнь. Отец охотно взялся за работу, но потом снова стал уставать.

Изредка приезжал Махновский. У Лиды мне жилось хорошо. Совхоз стоял над самым Бугом. Репниковы приобрели собственную корову и старую лошадь. Хозяйничать помогала работница.

Первомайск находился в семи километрах. Мы часто ездили туда вдвоем с Лидой в шарабане на двух высоких колесах. Лида правила, но старая лошадь вела себя так же, как

мамины коровы, иногда она останавливалась посреди дороги и начинала щипать траву. Лида ее толкала, просила, била — лошадь не двигалась. А когда мы, утомившись, покорно сидели в шарабане, на лошадь находило игривое настроение, она начинали то бежать рысью, то скакать галопом. Если это происходило в поле, Лида только вздыхала. Но чаще всего это было на улицах Первомайска. Нас окружала толпа мальчишек-консультантов. Лида злилась, а я хохотала. Утром мы купались в Буге, к вечеру ходили на баштан за арбузами. Днем я работала в конторе совхоза, собирала деньги на осень. У меня округлились щеки, а на коротко остриженной после тифа голове выросли кудрявые волосы.

Лето закончилось. Скоро начнется учеба. Надо думать о возвращении. Лида стала меня просить немножко повременить. Она хотела ненадолго поехать с мужем в Одессу, там она побывает и в Гнилякове, узнает, когда начинаются занятия в институте, ведь мне придется учебный год начать сначала. Лида меня оставила на хозяйство, но не успела Лида уехать, как 9 летний Коля сломал ногу. Я отвезла его в больницу, в Ольвиополь. Там наложили гипсовую повязку, крепко забинтовали ногу и оставили Колю на неделю в больнице. Когда я потом дома сняла с его ноги бинт, он был усеян вшами. Наш совхоз был оазисом, а вокруг по-прежнему был тот же голод, вши.

Что меня ждет в Одессе? Этот же вопрос задала мне возвратившаяся из поездки Лида.

— Где ты будешь жить, что есть? Занятия начнутся 15 октября. Не нужно спешить. Наша семья в Гнилякове живет неплохо, сытно. У Сережи нашлись хорошие приятели. Рядом с совхозом проживает в своей усадьбе культурная семья греков Корчефлиди. У них два мальчика. К Сереже все относятся, как к родному — он там проводит все дни. И мама довольна. Подожди еще хоть немножко, без тебя мне будет очень тоскливо.

Но в одно утро я проснулась от маминого зова и сказала, что завтра уезжаю. Лида не возражала, но, собирая меня в дорогу, ходила с заплаканными глазами. Только сидя в поезде, я почувствовала, до чего же я соскучилась по своей семье, и не могла понять, как не полетела к ним давно. Я сошла на станции Дачная, перешла через рельсы и пошла по той тропинке, о которой мне говорила Лида. Вот сейчас я могу их обнять, могу слышать их голоса. Какое же это счастье!

Вдали показались строения. Залаяли страшные собаки. О них мне тоже Лида говорила. Показалась женская фигура. Это мама. Я бросилась бежать ей навстречу. Но у мамы было такое лицо, что я в ужасе закричала:

— Мама, Сережа? Да? Сережа?

— Нет, папа...

Мы сидели в землянке, крепко прижавшись друг к другу, и плакали. Мама мне рассказала, что отцу все время нездоровилось, но он крепился. С трудом утром поднимался с постели. А вечером с горечью рассказывал маме, что работает так, как у него работали поденщики, но он бригадир. Чтобы не дать никому заметить своей болезни, он начинал шутить, все смеялись, работа прекращалась. Все восхищались веселым бригадиром, а он получал передышку и мог работать дальше. У отца не было табака, и он сушил и растирал всевозможные листья. Наконец, попросил маму съездить в город за табаком. Мама на другой же день вернулась домой, привезла пачку чая, конфет (вместо сахара) и пачку табака. Отец встретил ее с глубокой радостью. В этот день он не вышел на работу, все время лежал.

— Думал, не дождусь тебя.

Несмотря на нездоровье, стал угощать маму пирогами и молоком. Табак привел его в восхищение, он затянулся папиросой и расцвел в улыбке — до чего хорошо! Потом набил табакерку.

— Придется в другую табакерку положить табак и сушеные листья. Ведь будут просить, отказать нельзя.

Как только стемнело, отец лег в постель.

— А Сережи нет, уже поздно.

Проснулся среди ночи с вопросом:

— Сережа вернулся?

У него болела голова. Попросил маму дать порошок. Как только проглотил, стал задыхаться. Мама бросилась в большой дом, всех разбудила.

Стали запрягать лошадь, чтобы из Гнилякова привезти врача. Но было поздно. Через полчаса отца не стало. Утром поехали за родственниками. О Махновских мама забыла.

Она надела отцу парадный костюм, повязала вместо галстука бантом легкий шелковый шарфик. Он так любил. И всю ночь одна просидела над ним. У отца разгладились все морщины. Он лежал помолодевший, красивый, навсегда скрестив свои натруженные руки. Мама сердцем звала меня. И я ее слышала.

Приехали Илюша, Катя, Миля. Отца похоронили 1 октября. Я приехала 3-го. Мама рассказывала и плакала. Потом мы пошли на сельское кладбище. Отца похоронили, как он хотел — "без этих долгогривых".

И опять льется мамин рассказ об отце, о последних месяцах его жизни. Он так ждал меня. Испечет вкусный пирог и не начинает есть.

— Сегодня Липа приедет.

Целыми днями я беспрерывно плакала, упрекая себя во всем — и в том, что не приехала летом, и в том, что заняла его место в Первомайске. У Лиды он мог бы еще жить. А мама упрекала себя в том, что дала отцу старый порошок, может быть, этим отравила его.

Приехал Махновский. Он сказал маме, что Еля хочет помочь семье любимого брата. Они усыновят Сережу. Тогда я могу вернуться в Одессу и закончить институт. Одна как-нибудь проживу. А мама это время будет в Гнилякове. Мама сейчас же отклонила предложение Махновского. Но он просил ее не спешить с решением. Надо посоветоваться со мной, все трезво обдумать. Ведь речь идет о будущем моей и Сережиной.

Предложение Махновского показалось мне диким. Будущность! Где она? Какая? Не о будущем надо говорить, а о том, что мы сегодня вместе. И это надо сохранить любой ценой. Один из нашей семьи уже ушел безвозвратно. И страшнее этого ничего нет. Мы с мамой отдались своему горю, ни о чем не хотели думать. Мама испекла хлеб и рано закрыла печку. С наступлением сумерок мы легли спать. Пришел Сережа. Мама открыла ему дверь и потеряла сознание. Струя свежего воздуха привела ее в себя. Она бросилась ко мне. Я лежала без дыхания. Угар. Я открыла глаза и увидела, что лежу на завалинке у землянки. Надо мной сверкают осенние звезды. Раздаются чужие голоса. На другой день я представила, какой была бы жизнь мамы и Сережи без меня. Надо искать выход. В Гнилякове, в этой землянке мы оставаться на зиму не можем. Надо ехать в Одессу, искать работу, жилье.

Я поехала к Аксенову. Он был очень огорчен, узнав о нашем несчастье. В здании в это лето было организовано Артиллерийское училище. В лазарете большой штат. Из старых работников здесь Аксенов и зубной врач Крапива. Остальные работают в лазарете пехотной школы, в бывшем Кадетском корпусе, на 4-й станции. Штаты заполнены, пока вакансий нет. Как только будет что-нибудь для меня, Аксенов сообщит. Потом я пошла на 16-ю станцию. Трамваи не ходили.

После смерти дедушки Катя перестала ждать своего мужа, пропавшего без вести во время войны, бросила в городе квартиру и переселилась в маленькую комнатку в родильном доме. Зарплата у нее была небольшая, но Катя никогда не голодала. За 25 лет ее работы половина молодого населения Большого Фонтана появилось на свет с ее помощью. И даже сейчас иногда летом там на базаре какая-нибудь рыбачка отбирает для меня лучшую рыбу, потому что Я племянница Екатерины Федоровны.

На другой день я была у Мили. Она жила и голодала с детьми.

На работу нельзя было поступить без Биржи труда, а там зарегистрировано тысячи безработных.

Нюньца уехала на село. Ее сестра, брат, невестка были безработными, работал один отец. Илюша продолжал работать в конторе Январского завода. Его жена Нина бросила учительство и ездила с вещами в села за продуктами, потом дома варила борщ и в горячей кастрюле выносила его на базар. Там вместе с подростком дочкой разливала в тарелки и продавала. Сестра Нины, чопорная Женя, ходила по базару и выкрикивала:

— Сахарин! Сахарин! Меня охватывало отчаяние:

— Илюша, что же это такое?

— Все вместе, моя дорогая, это называется революцией. Так будет не всегда. Когда-нибудь люди будут жить хорошо. Но это произойдет не скоро.

А пока... Ну, что ж? Мы попали под колесо истории. Не наша вина. Но ты не очень огорчайся: мы тоже нужны — мы навоз для революции.

Ночевала я в Нюньциной семье, близко от вокзала. Они жили на Пушкинской, в бывшем Ильинском монастыре. Чтобы утром не мозолить глаза в маленькой квартире, я вышла на улицу. Идти мне было некуда. Поезд уходил к вечеру.

Был осенний мокрый день. Я вошла в открытую церковь и села на стул в темном углу. В сумраке церкви двигались какие-то старухи. Я сидела, тупо уставясь в иконы. О, если бы существовал кто-то большой, сильный, всемогущий, кто мог бы мне помочь. Но такого нет, и никто мне не может ничем помочь. А я одна должна найти для своей семьи жилье и хлеб.

Погруженная в невеселые думы, я возвращалась из поездки домой. Быстро наступали сумерки, и степь погрузилась в темноту. Я заметила, что сбилась с дороги, шагаю по вспаханной земле. Где же потерянная тропинка? Ничего не видно. Вокруг безлюдье и тишина. Я покружила по степи и встала. Меня сковывала усталость, голод. А потом наступило безразличие, равнодушие. "Навоз для революции"! Стоит ли бороться, искать тропинку? Все равно не найдешь. Опуститься сейчас вот на эту мокрую землю. И вдруг я услышала лай собак, страшных собак нашего совхоза, которых к ночи спускали с цепи. Там, в этой стороне, совхоз. Там мама, Сережа. Они меня ждут. Я им нужна. И я бросилась бежать навстречу лающим собакам. Я их не боялась. Я хотела жить.

## 5. На мели.

Мы решили переехать на Большой Фонтан. Жилье там летнее, но свое, родное. Мы вспомнили, с какой любовью строил его дедушка. Он создал прелестный уголок. К дому, прятавшемуся в тени дикого винограда, вела от самой калитки красивая аллея пирамидальных акаций. На двух больших клумбах перед домом все лето цвели и благоухали петунии. Всюду на высоких стеблях раскачивались многолетние огненные лилии, были похожи на раскрытые веера жесткие листья ирисов. В садике фруктовых деревьев нет, все подчинено удобству и красоте. Большие кусты сирени и дикой смородины похожи на огромные букеты. Дорожки и площадка перед верандой посыпана желтым песком. Первая комната в доме по утрам залита ярким нежарким солнцем. Всюду праздничная чистота. Даже в дедушкиной землянке, которую "фонтанские" родственники называют "кабинет дяди Феди". Там на глиняном полу большая циновка. На кровати высокий матрас, набитый душистым сеном. Покрывало, простыни, наволочки из пестрого накрахмаленного ситца. В углу теплится лампадка. Нас умиляет, что у дедушки есть все: и иголки, и нитки, и ножницы. Кастрюльки и посуда сверкают чистотой. Хотя бабушка сдает на Фонтан все старье, с трещинами, с отбитыми краями. Но дедушка очень опрятен, следит за порядком.

В другой половине землянки — кухня. Эта часть дачи называется "черным двором" и отделена высоким забором. Там погреб, мусорный ящик. Но и здесь тот же порядок.

Чтобы хоть немного вернуть затраченные на постройку деньги, дедушка сдает дачу летом дачникам. Они не нарушают порядка, заведенного дедушкой, поддерживают чистоту. Перед землянкой два высоких столба — это качели. Можно сесть на удобный деревянный диванчик и, держась за висящую посредине веревку, медленно раскачиваться. Каждую субботу дедушка спешит после работы переодеться и скорее уехать в свое поместье.

— Надо сказать Анюте Голодной, чтобы побелила веранду, посыпала свежим песком дорожки, — говорит он.

Так дедушка в большом доме и не успел пожить. После революции садик рос, дом потускнел.

В холодные зимы и мы, и Катя не раз приходили сюда за дровами, срезали разросшиеся ветки акаций, а потом мешки с дровами на спинах приносили в город.

Наше решение переехать в родной дом очень обрадовало Катю. Она обещала подготовить дом к нашему приезду. С переездом надо было торопиться: приближалась пора дождей. Было уже начало ноября, когда мы тронулись в путь. Совхоз дал нам подводу, на которую

мы положили свое незатейливое имущество и летний заработок отца: полмешка пшена, мешок овощей, немного фасоли. Мама насобираала корзиночку шиповника, чтобы заваривать его вместо чая. В пути мы заблудились. Стали разыскивать дорогу. И тут из моего пальто выпрыгнул котенок, которого мы взяли с собой. Наш кучер рассердился. Вот теперь понятно, почему мы заблудились. Неужели мы не знаем, что кошек нельзя брать с собой в дорогу, они приносят несчастье? Мы виновато молчали.

Приехали во второй половине дня. Катя нас ждала. Сверкали чистотой выкрашенные полы. В средней комнате на высоких ножках стояла "румынка". Труба выведена в окно. Румынка жарко пылает. Подпрыгивает крышка кипящего чайника. На столе хлеб и сахар. Мы отогрели и накормили своего кучера. Он уехал довольный.

Первый раз за последний месяц мы с мамой заснули без слез. Мы были дома.

Зима 22-го года не была ни морозной, ни снежной и все же для нас очень тяжелой. В доме было холодно, так как одинарные окна и двери пропускали холодный воздух. Нависали густые туманы. Труба выходила на веранду, и дым оставался в комнате, он вообще не хотел от нас уходить. Чуть подует ветер (а у моря он был часто), и дым возвращался в комнату. Приходилось гасить огонь и выгонять гарь. Для этого в доме открывали двери с двух сторон. Вместе с дымом уходило тепло. Приходилось согреваться в постели под одеялом. Не было ни хлеба, ни жира. Иногда что-то приносила Катя, но чаще мама брала занавеску, полотенце и шла на базар. Потом она стала отпаривать длинные полосы енотовой шкуры от отцовской шубы, — покупали охотно. Мама шла пешком на Привоз, приносила оттуда хлеб, подсолнечное масло и тогда варила обед. Я тоже частенько ходила в город в поисках работы. Потом я начала хлопотать о продаже дома на Слободке, ведь у нас его не отбирали. Галош у меня не было, башмаки промокали. Для продажи дома понадобилась справка о смерти отца. Надо было ехать в Гниляковский сельсовет.

Снег таял. Я надела свое расходное пальто из солдатской шинели, вязаную шапочку и солдатские ботинки. В Гнилякове была непролазная грязь. Я еле добралась до сельсовета. Справку получила в тот же день. Поезд уходил на другой день в полдень. Я переночевала в хате дальних родственников Мили. Вечером, когда я отмывала от грязи ботинки, увидела, что на одном из них отстала подошва — башмак открыл большую пасть. Хозяева посоветовали мне высушить его у печки и положить побольше соломы, а уйти на вокзал рано утром, когда мороз стянет грязь. Так я и сделала. На вокзале, стоя, я долго ждала прихода поезда. Скамеек не было — их сожгли. Бродили беспризорники. Один из них, мальчуган лет 10-ти грязный, оборванный, подошел ко мне, посмотрел на пасть моего башмака, откуда выглядывала солома, вынул из кармана веревочку и по-товарищески сочувственно мне сказал: "На, завяжи".

Дом я продала только через год за триста рублей. На эти деньги мы купили две пары ботинок, первый в нашем быту примус и горку мелких, наколотых для "румынки" дров.

Сережа приобрел друга — Павлика. Его отец полковник Круссер, преподаватель Артиллерийского училища, в 20-м году ушел с белыми, а жена, урожденная Мотекайтис, с четырьмя детьми переехала, как и мы, на Фонтан в родовую хижину. Это была крепкая, хорошая, любящая семья. Мать зарабатывала шитьем. Жили впроголодь. Павлик, широкоплечий 12-летний мальчик с добрым лицом, был не только старше Сережи, но и обладал двухлетним опытом жизни на Фонтане. Он открыл секрет топки не дровами, а высушим бурьяном, которого было много на берегу моря.

Наступил март, на дворе было теплее, чем в доме.

— Пойдем с мальчиками за бурьяном, — предложила мама.

Мы спустились к морю, повернули налево и пришли к подножию дачи художника Бодаревского "Ласточкино гнездо". Все склоны холмов были покрыты серыми стеблями прошлогоднего бурьяна. Солнце нагрело прибрежные камни. Я легла на них, закутавшись в солдатское пальто. Мягко плескалась морская волна. Доносились звонкие голоса мальчиков. Они складывали вырванный бурьян в большие легкие вязанки. Рядом сидела мама. Нам было хорошо, мы вместе.

С наступлением весны наша пища стала разнообразнее: мальчики приносили мидий, рачков-креветок. Мама всегда с интересом спрашивала Павлика, что готовит его мать.

— Борщ из всякой зеленой травки. Суп из мидий, из рачков. Соус из мидий, салат, пирожки.

Мама старалась не отставать. Настой шиповника, который мы все время пили вместо чая и компота, и обезжиренная еда навсегда излечили ее от камней печени.

Добыча мальчиков становилась все значительней. Они стали приносить мелкую рыбу, которую давали им рыбаки за помощь.

Был теплый весенний вечер. Мягко хлопнула калитка. По главной дорожке шел Сережа — тоненький, стройный мальчуган в коротких штанишках. Он тащил, крепко прижимая к груди, огромную рыбу. Она была круглая с длинным хвостом.

— Боже мой, какое чудовище, — сказала мама. — Неужели ты думаешь, что мы будем ее есть?

Сережа швырнул рыбу, сел на ступеньки веранды и горько заплакал.



— Я ее получил за работу. А Павлика мама жарит эту рыбу. Мама крепко обняла Сережу.

— Не плачь. Если Павлика мама так делает, значит, рыбу можно есть. Я тоже ее приготовлю.

Рыба оказалась скатом. Мясо было очень вкусное, жирное, напоминало камбалу. Сережа и Павлик начали с рыбаками выходить в море.

— Хороший слухняный хлопец, — говорили рыбаки при встречах с Катей. Они много лет потом расспрашивали ее о жизни и работе "нашего Сережи", которого полюбили по-своему, по-мужски, так же, как Сережа навсегда полюбил Павлика, ставшего рыбаком. Он погиб во время Отечественной войны у берегов Фонтана, защищая Одессу.

Теперь, когда я летом живу на Фонтане и утром иду к морю, я часто встречаю старшую сестру Павлика Катю. Из ее семьи никого не осталось, только дети Павлика. Мы говорим с Катей о наших братьях, о наших матерях.

У Кати живет 80-летний дядя Саша Виньковский. У него на войне погибли два сына. Он был бригадиром рыбаков. И сейчас дядя Саша следит за морскими новостями. Катя Круссер рассказывает, что дядя Саша, услышав о чем-нибудь героическом: о спасении нашим судном иностранца, о пригонке в Ильичевск огромного дока, говорит: — Там, наверное, наш Сережа.

Пасха в 23-м году была поздняя. Она совпала с днем маминого рождения, 6 мая. Отец всегда ей дарил букетик ландышей. К нам пришли из города гости — Лиза и Виктор. Мама угостила их жареным скатом, не называя рыбы. Гости восхищались вкусной едой.

На Викторе был светлый плащ с прожженной дыркой над карманом. Он рассказывал, что, идя по городу, научился прикрывать дыру локтем. Рассказывал, сколько перенес за эти годы. Студентов мобилизовывали во всякие армии (только медики этого избежали). Витя побывал у красных, у белых, у зеленых. В 20-м году он вместе с товарищем-земляком убежал из Крыма при отступлении белых. Упоминание обо всех этих армиях потом попали в его анкету и повлияли на его жизнь. А жил он на Французском бульваре, на брошенной даче, в маленьком домике, увитом глициниями. Вместе со своим другом Витя работал продавцом в молочном магазине, который открыла Кирьякова — директор Центральной рабочей библиотеки. Друзья собирались в Москву для поступления в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Я пошла провожать своих гостей. Незаметно дошла до 9-й станции и спустились к морю отдохнуть. Мы сидели с Лизой на холмике, покрытом травой и желтыми одуванчиками, а внизу на траве лежал Виктор. Он пел песню о плачущей деве, которую "цыганка, гадая, за ручку брала". Мы любовались нежными красками моря. За спиной у нас заходило солнце, и небо было багровым.

Неожиданно Виктор поднял голову и сказал:

— А знаешь, Липка, ты ничего себе.

Мы с Лизой расхохотались. Ну и комплимент!

— Нет, это не комплимент.

Лицо у Виктора было серьезным, и он смотрел на меня, будто впервые увидел.

Весна согрела людей. На улицах Фонтана стали чаще появляться его случайные обитатели. Вот идет босяком и несет на коромысле ведра с молоком Измайлов. У него несколько коз и огромная дача напротив 16-й станции. Парк протянулся до самого моря. А над обрывом роскошный дом. По другую сторону Амбулаторного переулка розовая дача бывших богачей Посоховых. Ее владелица, маленькая женщина в грязном платье, гонит корову. В одной руке у нее кнут, другой — грязной, в саже, она крепко прижимает к лицу лорнет.

Для детей на Фонтане открыли столовку. Здесь Сережа ежедневно получает маисовую кашу с молоком. Это помощь американского общества "Ара". Сереже выдали американские ботинки.

В конце мая пришла моя двоюродная сестренка Надя. Ей пятнадцать лет, а лицом она похожа на безбровую Джаконду. У Нади в руках огромный букет тюльпанов. Разноцветными огнями они вспыхнули сейчас на всех заброшенных, заросших травой дачах. Надю прислал Аксёнов. Для меня есть работа в Артиллерийском училище — регистратор в зубоврачебном кабинете. Зарплаты нет, но есть красноармейский паек.

Теперь наша семья встает очень рано, только начинается рассвет. Мама кормит нас и печально смотрит: ее дети уходят на работу Сережа — к рыбакам, я — на 3-ю станцию. Но мы не чувствовали себя несчастными.

Мне нужно быть на работе к восьми часам. Я выхожу рано, потому что люблю каждое утро немножко постоять на 13-й станции. Там обрыв, и перед глазами необъятная ширь моря.

Вот на горизонте только-только показался краешек багрового солнца, но оно быстро увеличивается. Солнце растет на глазах и превращается в пылающий шар. И тут начинается непонятное, чарующее явление, которое я наблюдаю порой и сейчас, но так и не знаю — неужели я вижу это только одна. Солнце раскачивается. Вот оно побежало среди сиреневого тумана, как золотое яблочко по серебряному блюдечку, влево, замерло на мгновение и покатило обратно. Потом остановилось, увеличилось в размерах и начало подпрыгивать вверх. На море падает сноп ярких лучей, и вода превращается в

серебряное сверкающее озеро. Солнце поднимается еще выше, и озеро превращается в широкую серебряную дорогу. Она тянется к самому берегу и делит свинцовое море на две половины, окаймленные кружевными волнами. Мне не хочется уходить. Я с трудом отрываюсь от этого зрелища.

На 11 -й станции я сделала поворот и иду дальше. Душа моя омыта морем и солнцем так, как когда-то в детстве мама омывала мое лицо росой. Я уверена, что в моей жизни тоже будет поворот, и тогда на меня хлынет яркое, как солнце, ослепительное счастье.

В Артиллерийском училище меня с искренней радостью встретили и Аксенов, и Крапива. Каждый день я приношу домой круглый хлеб.

Приехали Лида с Колей. Вскоре она надолго исчезла в городе — навещает знакомых, а Сережа с Колей ежедневно выбегают мне навстречу. Они терпеливо сидят на 11-й станции на скамеечке, у огромных ворот дачи, на арке которых написано "Villa Varsowin". В кармане у них перочинный нож, ведь я несу душистый, вкусный хлеб.

Осенью мне дают в подчинение красноармейца и лошадь. Мы переезжаем в училище, в красивую комнату. А еще через месяц приходит сияющий Колечка Пинин, — меня вызывает доктор Кельин. В Пехотной школе есть вакансия медицинской сестры. Я буду получать комсоставскую зарплату и комсоставский пищевой паек, а также ежегодно обмундирование: сапоги, шинель, суконный костюм, два комплекта белья носильного, два комплекта белья постельного, шерстяное одеяло. Мне дают две комнаты.

Прощай, милый Фонтан. Теперь ты только дача, но наши сердца на всю жизнь приросли к родному домику, маленькому садику и безграничному морю. Наше семейное суденышко снялось с мели и взяло курс на берег. И капитаном на нем — я.

**Январь—март 1965 г.**

## **Послесловие публикатора.**

История рода продолжается. Потомки купца 3 гильдии Алексея Петровича Слемзина расселились на огромном пространстве — от Черного моря до Сибири... Сейчас я собираю материалы о жизни и судьбах наших родственников. Надеюсь, что летопись семьи не прервется.

А. А. Слемзин.